

## АРМАНЬ

*(документально-художественное повествование)*

Огромный пароход с раздавшимися бортами тяжело раскачивался на длинной волне в пятидесяти метрах от берега. Тёмная мутная вода, похожая на студень, лениво накатывала на железный корпус. В левый борт упирался низкий деревянный пирс, на который осторожно ступали заключённые, балансируя на раскачивающихся сходнях. На берегу был образован коридор из бойцов охраны с беснующимися овчарками; заключённые втягивались в этот коридор и поднимались по пологому песчаному склону. Далеко впереди виднелись одноэтажные серые дома, какие-то будки, чёрные сараи, покосившиеся заборы с колючей проволокой; ещё дальше, с обеих сторон, вздымались сопки, покрытые сочной зеленью, там были низкорослые деревья, густая трава, бурые мхи. В целом картина была очень живописная. Пётр Поликарпович невольно залюбовался. День был тёплый, солнечный, а пейзаж какой-то дикий, вольный. С берега пахло разнотравьем, но не так, как в Сибири. Запах был очень странный, с какой-то примесью – острый и пряный одновременно. Небо было тёмно-синее, глубокое, солнце слепило глаза; всё вокруг блистало и лучилось. Обернувшись в другую сторону, Пётр Поликарпович увидел вздымающийся горбом океан, объятый двумя уходящими вдаль берегами. Океан казался очень далёким, извилистая линия берега убегала вдаль на десятки километров. Где-то там остались и Владивосток, и Японские острова, и вечно тёплый тропик. Там же осталась и вся прежняя жизнь. Глядя на темнеющий вдали океан, обводя взглядом холмистую линию берегов, вдыхая всей грудью незнакомые запахи, Пётр Поликарпович вдруг с пронзительной силой ощутил чужеродность этого мира, его страшную удалённость от всего, что было привычно и дорого. Берег казался чужим, едва ли не первобытным. Ориентиров не было никаких. И не было дорог через эти сопки, через эти необъятные пространства. Это чувствовалось сразу.

Хотя нет, одна дорога уже была проторена – теми, кого регулярно привозили сюда пароходами последние восемь лет. Сразу от берега, за линией влажного песка, начиналась до странности твёрдая земля, поросшая редкой травой. В этой неподатливой каменистой земле была натоптана широкая тропа, по которой потянулся только что прибывший этап. Едва волоча ноги, жмурясь от яркого солнца, заключённые медленно поднимались по склону. Все были измучены и обессилены, всем страшно хотелось пить. Но воды им не давали. Вода и пища ждали их в лагере, до которого нужно было ещё дойти. Встал в эту колонну и Петр Поликарпович. Он понимал, что нужно выдержать этот последний путь, а потом будет передышка. Дадут

немного воды и хлеба, можно будет ополоснуть лицо, упасть на нары или прямо на землю.

Целый километр поднимались они в гору, и чем дальше, тем круче был уклон. Потом дорога свернула влево и пошла почти ровно. Ещё через полтора километра повернули вправо и опять стали подниматься в гору. Пётр Поликарпович двигался из последних сил. Ноги не слушались, сердце бешено стучало, пот заливал глаза. И нельзя было вытереться: рукава пиджака были настолько грязными, что страшно было притрагиваться к лицу. Под ногами была рыжая взвесь из песка и пыли. Серые камни всех размеров попадались во множестве; казалось, почва наполовину состояла из камней. По обеим сторонам росли невысокие кустики странного вида. Цветов не было вовсе. И птицы не летали над головой. Чем дальше, тем острее чувствовалась непохожесть этой земли на родную Сибирь. Выглядела эта земля не так, была иной на ощупь, и запах был очень странный. Всё вместе рождало смутную тоску. Все заключённые чувствовали тревогу. Шли молча, с тяжёлым придыханием, головы втянуты в плечи, взгляд устремлён в землю. Никто не любовался местными красотами. Всех пугали заросшие густой зеленью сопки. Каждый, верно, думал: доведётся ли выбраться отсюда? Сроки у всех были немалые. Редко, у кого меньше пяти лет. У всех «политических» было по восемь и по десять. Цифра сама по себе не страшная и не великая, но попробуй проживи восемь лет среди этих мрачных гор! И как-то оно будет в лагере? Как там примут, куда отправят на работу, чем будут кормить? Есть ли в лагере больница? Какой будет режим?

Все эти вопросы теснились в голове. Заглушить их могла лишь усталость, когда гаснет последняя мысль и словно бы растворяются все тревоги. Мерная ходьба способствовала такому состоянию. Постепенно Пётр Поликарпович перестал замечать окружающее, он упрямо смотрел себе под ноги, переступая через камни и думая о том, чтобы не упасть.

Путь до лагеря занял больше двух часов. Четырёхтысячная колонна растянулась почти на километр, и пока передних уже считали перед лагерными воротами, задние всё ещё брели, вздымая тучи пыли.

Наконец остановились. Пётр Поликарпович поднял голову и прочитал лозунг над лагерными воротами: «ПУТЬ В СЕМЬЮ ТРУДЯЩИХСЯ – ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТРУД». Он не сразу понял смысл фразы, каждое слово было словно бы само по себе. Он никак не мог вникнуть, что это такое – семья трудящихся? А он, разве, не трудился всю свою жизнь? Отцы и деды его вспахивали неподатливую сибирскую землю, сам он пролил немало пота, когда работал от восхода до заката, не разгибая спины! Но размышлять было некогда. Толпа заключённых уже вливалась в лагерные ворота. Вокруг стояли вооружённые солдаты, вид у них был такой, будто они сейчас бросятся на заключённых в рукопашную; собаки рвались с поводков, разбрасывая пену с оскаленных клыков, а с безоблачного синего неба светило яркое солнце, безучастно грело стылую землю, как и тысячу, и миллион лет назад.

Наконец, и ворота, и конвоиры с бесновавшимися псами остались позади. Взору открылось внутреннее устройство лагеря. Сразу за вахтой стояли двухэтажные каменные дома, а дальше виднелись в странном беспорядке приземистые бараки с почерневшими крышами. Бараков было очень много. Холмистый рельеф местности усиливал впечатление какого-то хаоса. По всему периметру лагеря были вкопаны столбы, и видно было, что колючей проволоки не пожалели, намотали густо. С интервалом в сто метров разместились высоченные охранные вышки, на каждой были пулемёт и прожектор.

Колонну заключённых погнали мимо двухэтажных каменных домов, которые занимала лагерная администрация. Метров через двести они увидели высоченное и довольно уродливое здание, словно бы составленное из разных кусков: внизу были трёхметровые ворота грязного цвета, выше — сеть мелких квадратных окошек, бока здания были сложены из серых плит разных оттенков, двускатная крыша была почти плоской. Всё вместе производило донельзя странное впечатление. Тут же выяснилось, что это местная баня, и мимо неё пройти никак нельзя. Колонна остановилась, заключённые оживились, стали разглядывать нелепое сооружение. Против бани никто не возражал. Все были не просто грязны, а загажены до последнего предела, ото всех страшно воняло, и каждый мечтал о шайке горячей воды и о куске мыла. Наконец, открылась одна створка неуклюжих ворот. Заключённые двинулись внутрь. Сто человек загнали в просторное полутёмное помещение совершенно без окон, освещённое лишь несколькими лампочками, висящими под потолком. На не окрашенном деревянном полу валялась чья-то одежда: плащи и куртки, пиджаки и рубахи, штаны всех покроев, сапоги, ботинки и даже майки с трусами. Всё это валялось в беспорядке, брошенное как попало. Все поняли: одежда осталась от тех, кто вошёл сюда раньше.

Вдруг раздался скрежет, и отворилась небольшая дверь, ведущая изнутри другого помещения. В зал вошли двое — с наглыми физиономиями, упитанные и крепкие на вид. Не нужно было много сообразительности, чтобы признать в них матёрых уголовников.

— Ну, чего хавло разинули? — крикнул один из них. — Скидывайте шмотьё на пол и дуйте в помывочную. Цацкаться с вами тут никто не будет.

— А с одеждой как быть? — спросил кто-то.

— Ничего с вашим тряпьём не случится, — был ответ. — Получите после бани.

Заключённые переглянулись, потом стали раздеваться. Никаких вешалок или скамеек не было. Всё валилось в общую кучу.

В помывочную пропускали по одному. Каждому заглядывали в рот, проверяли, что в руках. Отбирали любую мелочь и, кажется, готовы были изъять из тела душу, чтобы зэк послушно исполнял любые команды, ничего для себя не требовал и не чувствовал. К этому идеалу стремились хозяева колымских лагерей и очень жалели, что никак не могли его достичь. Души из тел изъять не удавалось. А чувства у всех этих несчастных, измученных

людей сохранялись до самого последнего вздоха. Справиться с этим недоразумением природы советская власть за семьдесят лет так никогда и не смогла.

В следующем помещении орудовали местные парикмахеры – тоже заключённые, облачённые в грязные рваные халаты и вооружённые механическими машинками для стрижки волос. Вновь прибывшие становились перед ними, а те лихо состригали волосы с голов, подмышками и в других местах. Работали торопливо, движения были резкие; то и дело слышались болезненные вскрики, тут же звучал грубый смех и следовали похабные комментарии. Миновать эту процедуру было невозможно. Сами заключённые понимали, что лишние волосы на голове и на теле – это рассадник вшей. А вши были у всех. Поэтому никто особо не противился.

После стрижки все получали по небольшому прямоугольничку мыла и шли в следующий зал, где была помывочная. И тут уже каждый управлялся, как умел. Хватали деревянные шайки, теснились у кранов с горячей водой, потом искали свободное место на лавках и прямо на полу. Лихорадочно мылились, тёрли себя ладонями, плескали воду на лицо... Всё делалось в страшной спешке. Пётр Поликарпович наполнил шайку тёпловатой мутной водой, затем ещё раз, и после снова сумел налить себе почти уже холодной воды. Вода доставляла наслаждение. Крохотный кусок скользкого липкого мыла казался величайшей драгоценностью. Пётр Поликарпович проявил удивительную оборотистость: насобирал на полу крошечные обмылки и мылился, мылился без конца, лил на себя воду, усиленно растирал лицо и остриженную голову. Где-то щипало, где-то кололось – он ничего не замечал. Смыть с себя всю накопившуюся грязь – вот главная задача и смысл.

Вдруг кто-то крикнул, перекрывая шум:

— Всем быстро на выход!

Пётр Поликарпович вылил на голову остатки воды, поставил шайку на скамью и пошёл к раскрывшейся двери.

В следующей комнате он получил застиранные кальсоны и рубаху с длинными рукавами мутно-зелёного цвета. За следующей дверью ему дали бесформенные ватные штаны и словно бы изжёванную гимнастерку, в третьем помещении заключённым выдавали телогрейки, кирзовые ботинки и выдавшие виды портянки. В самом конце Пётр Поликарпович принял в руки бушлат, шарфик и шапку-ушанку. Размеров никто не спрашивал. Не до того было.

Выйдя из бани, заключённые стали натягивать на себя кальсоны и нательные рубахи. Тут же менялись друг с другом, если размер не подходил. А об оставленных на полу вещах речи уже не было. Если кто и вспомнил, так ничего не сказал. Все так и поняли, что никто ничего назад не получит. Где бы они ни были, какой бы дорогой не шли, — никогда они не возвращались прежним путём. Путь был только вперёд, в неизвестность. Вот и на этот раз заключённых повели вглубь лагеря, где для них был приготовлен барак со сплошными нарами, с низкими потолками, с железной бочкой посередине и со всем тем, что и было во всех бараках «Севвостлага» — одной из самых

жутких организаций, какие только знала вся мировая история. Летом 1940 года эта организация включала в себя четыре сотни больших и малых лагерей (среди которых были целые города с 50-тысячным населением вроде Бутугычага). «Севвостлаг» занимал громадную территорию, простиравшуюся от Чукотки до Владивостока, и от Берингова пролива до Красноярского края. На всей этой площади (превышающей площадь Соединённых Штатов Америки), одновременно работали – днём и ночью, зимой и летом – два миллиона человек. Были среди них и вольнонаёмные (погнавшиеся за романтикой, а кто-то и за длинным рублём), но подавляющее большинство составляли заключённые, доставленные в эти дикие необжитые места грузовыми пароходами вроде тех, на котором прибыл сюда писатель Пётр Поликарпович Петров. Советской власти на этой территории не существовало, её заменял всемогущий НКВД со всем своим репрессивным аппаратом. Дальстроем командовали в разные годы генерал-майоры и генерал-полковники ГБ НКВД, а подчинённым ему Севвостлагом распоряжались (как умели) — капитаны, майоры и полковники. Вместо посёлков по всей необъятной территории в спешном порядке строились лагеря. Вместо гражданской власти здесь были военный порядок и чрезвычайщина, грубое принуждение и полное равнодушие к элементарным нуждам людей.

Оно и понятно: какой дурак поедет в эту чёртову даль – строить среди вечной мерзлоты посёлки и долбить на пятидесятиградусном морозе неподатливый камень? На уговоры и увещевания у советской власти времени никогда не было. Гораздо проще было привезти сюда несколько миллионов человек под дулами винтовок и бросить их в безжизненные сопки, заставить строить бараки из окаменевшей даурской лиственницы, ставить двухслойные палатки (на всю зиму) и без продыху долбить мёрзлую сопротивляющуюся землю. Не беда, если половина заключённых умрёт в первую же зиму от непосильной работы, от голода и от побоев (а кого-то и расстреляют за невыполнение плана или за отказ от работы). За умерших и убитых особо не спрашивали. Зато неустанно требовали золото и олово – в непомерных количествах. И – получали то и другое – десятками тонн! Это было главное и первостатейное в деятельности Дальстроя, а всё остальное было неважно. Цель оправдывает средства и всё такое.

В этот первый день пребывания в магаданском пересыльном лагере заключённых так и не накормили. Но это никого не удивило. Все уже знали, что на довольствие всех прибывших ставят лишь со следующего дня. Так было везде и всюду, будь то колымский лагерь, или заштатное СИЗО где-нибудь под Воронежем.

После бани заключённые спали особенно крепко. В бараках было тепло (июль стоял), свежий воздух наполнял лёгкие, и места на нарах было достаточно. Никакого сравнения с пароходным трюмом. Пётр Поликарпович лёг на доски, осторожно вытянул ноги во всю длину и блаженно зажмурился. Кто-то носил по проходу кипяток в консервных банках, кто-то что-то грыз, кто-то отрывисто говорил, словно лаял, – всё это нисколько ему не мешало.

Страшная тяжесть навалилась на него, чёрный удушливый поток хлынул в голову, и он мгновенно уснул, будто провалился в погреб. И спал так остаток вечера и всю ночь – без сновидений, без желаний и без чувств. Это было лучшее, что можно было придумать в такой ситуации.

Летние ночи на Колыме очень коротки. В полночь ещё светло, а в шесть утра уже всю светит солнце. Всё это было непривычно, и ко всему нужно было привыкать. К резкому сухому воздуху, от которого резало грудь, а голова делалась чугуновой. К высокогорью и перепадам температуры, когда днём стоит жара, а ночью собачий холод. К странным запахам, идущим от самой земли, и к неоглядным далям, от которых захватывало дух. Ну и к людям тоже нужно было привыкать и приспосабливаться.

Из этого лагеря Пётр Поликарпович отправил жене письмо, где среди прочих были и такие строки:

*«Люди здесь суровые и не расположенные к сердечной дружбе. Несчастье сделало их такими. И я уже не тот, каким вы меня знали... Если бы я имел две жизни, то обе отдал бы только за то, чтобы вы сюда не ездили...».*

Стихов в этом лагере он уже не писал. А эти сдержанные строки каким-то чудом дошли до адресата. Жена получила письмо и хранила его до самой смерти.

На этой магаданской пересылке, устроенной на сопке «Крутая» в шести километрах от бухты Нагаева, Пётр Поликарпович провёл почти два месяца. Каждый день к лагерным воротам подъезжали грузовые «ЗИСы». Из ворот выводили колонну заключённых, усаживали плотными рядами в кузов, и машина выруливала на колымский тракт, увозя очередную партию людей в неизвестность. Заключённым никогда не сообщали конечного пункта следования, они не знали, будут ли ехать в тряском кузове два часа или двое суток. Также никто заранее не знал о предстоящем этапе. В течение получаса заключённых как скот сгоняли к вахте и уже там объявляли о предстоящем этапе. Пётр Поликарпович каждое утро испытывал тревогу: не сегодня ли повезут и его в дальние лагерь, про которые рассказывают всякие ужасы (даже и до неправдоподобия)? Тревога не оставляла его почти всё утро, и только после обеда он успокаивался.

Работа разнообразием не отличалась: заключённых каждый день гоняли или на колымскую трассу или на окраину Магадана. Город активно застраивался, возводились каменные дома, разбивались скверы, дороги прокладывались. На городских стройках было чуть полегче (и как бы веселее, если здесь уместно такое слово). Ранним утром колонну заключённых гнали по пустынным улицам. Заключённые разглядывали покосившиеся деревянные дома и массивные каменные строения, хмуро глядели на гражданских и на военных, пытались разглядеть море далеко внизу. Уже на объекте неохотно разбирали ломы, лопаты и носилки, а кто-то брал мастерки и пилы; затем приступали к работе. Пётр Поликарпович обычно носил мусор носилками. Иногда ему давали молоток и гвозди и поручали соорудить перила для лестницы на второй этаж, или сколотить

какой-нибудь трап, или поручали прибивать доски к деревянным стойкам. Но на эту работу были свои умельцы. Зато лопаты и носилки были свободны всегда. Мусора на любом объекте всегда предостаточно.

Подъём был в шесть утра (по раз навсегда установленному порядку). У лагерных ворот били железной трубой о висящий на проволоке рельс, а в каждом бараке дневальный орал благим матом «Па-адъё-ом!..», «Вых-ходи из барака!..» (кто во что горазд). Заключённые с трудом поднимались с голых досок и выходили на улицу, там справляли нужду, ополаскивали лицо ледяной водой из рукомойников. Потом их строем вели в столовую, где было всегда одно и то же: миска безвкусной магары и пайка чёрного слипшегося хлеба. В восемь часов был развод, после которого колонны уходили из лагеря: кто в город, кто на трассу, кто на сопки – рубить кедровый стланик. А кто-то оставался в лагере (тут тоже работы хватало). Самых неудачливых ждал этап.

С утра Петру Поликарповичу всегда бывало невыносимо тяжело. Всё тело, все суставы и кости болели. Давило грудь. Тяжело было дышать. На руках ссадины и мозоли. А сил не было вовсе. Кажется: лёг бы посреди дороги и лежал как труп, глядел в бездонное колымское небо. Но лечь было нельзя. Превозмогая боль, он поднимался, понемногу расхаживался, приходил в себя. Боль медленно отступала, как бы уходила в землю через ноги; в голове светлело, и уже не было той чёрной тоски, от которой хотелось рвать на себе волосы, или вдруг броситься с кулаками на конвоира. К обеду теплело, солнце ярко светило, открывая дали и суля свободу. Заключённые исподволь разглядывали сопки вокруг Магадана. На этих сопках не росло крупных деревьев, и живности тоже было не видать. Если пойти по этим сопкам наудачу, то через неделю точно подохнешь – это Пётр Поликарпович понял сразу (как бывший таёжник и партизан). И ещё он понял, что никакой конвой его не поймают, если только он отойдёт от лагеря хотя бы на десяток километров. И не погони тут нужно бояться, а самой природы, в которой нет места человеку. Опытным взглядом бывалого человека он оценил и эти чахлые деревья, и стланик (жалкую пародию на могучий сибирский кедр), и гнущуюся под ветром траву, и студёный ветер в разгар летнего дня. Не зря, ох не зря его пугали Колымой! И ведь здесь, на берегу Охотского моря, ещё не так холодно, как на континенте. Что же будет там – за сотни и тысячи километров от берега?.. Всё это ему предстояло узнать в самом скором времени.

А пока он таскал носилки со щебнем, орудовал лопатой и как мог экономил силы. Но силы с каждым днём убывали. Он со страхом думал о том, что же будет там – в настоящем лагере, когда наступит лютая зима, а вместо ленивых конвоиров появятся ретивые надсмотрщики? Уже сейчас он голодает, а утром не может без стога подняться на ноги? Самое лучшее было – вернуться обратно во Владивосток. Там хотя бы не чувствовалось этой страшной оторванности от остального мира. Но вернуться туда было нельзя, это он знал. В пересыльном лагере его тоже не оставят – это тоже было ясно. Оставалась надежда на то, что его пошлют в какой-нибудь не очень

страшный лагерь. Он слышал от местных, что тут есть что-то вроде совхозов, в которых заключённые возделывают землю и выращивают урожай. Вот это было бы в самый раз! Он с детства привык работать на земле, любил землю – так, как может её любить только крестьянин, для которого земля не развлечение, а суровая реальность и смысл всего существования. Уж он бы показал своё умение работать! Но как попасть в такой лагерь? Он запомнил это странное слово – «Сеймчан». Уж так его хвалили, так хвалили – просто рай земной! Правда, это где-то очень далеко – километров пятьсот на север, а может, и больше. Говорили, что там и женщины работают. Но до женщин ему дела нет, а вот показать себя в привычном деле – это он может. Тогда и год, и два, и все пять – он сдюжит! Тогда можно всё превозмочь – и обиду, и голод, и болезни...

И он решил обратиться к местному начальству, сказать всё, как есть. Всё-таки, они тоже люди. Должны понимать, что ему уже много лет, и тяжёлой работы не выдержит. Кому будет лучше, если он тут погибнет? Государство потеряет труженика, жена – мужа, а дочь – отца. Нет, не должны ему отказать!

Так он думал неотступно, каждый день плетясь в колонне на работу. И весь день мысль о спасительном Сеймчане не оставляла его. Ложась спать, он думал о том, как будет вскапывать неподатливую колымскую землю, на какую глубину бросать семена, чем их укрывать от морозов, и что лучше для питания – картоха или свёкла? Морковка или капуста? Получалось, что всё хорошо! Главное, чтоб побольше. Если целый год есть одну капусту, то уже не умрёшь! И цинги не будет. Кожа не будет облазить лафтами. И вшей можно извести с помощью обычного капустного листа. Какой же это замечательный овощ – капуста! Не зря Пифагор её так расхваливал. Ах, если бы ему позволили, как бы он старался, как старался...

Однажды он осмелился высказать свою просьбу. Правда, он высказал её не военному начальнику, а фельдшеру из лагерной больницы. После работы он пошёл не в барак, а в дальний угол лагеря, где располагался медпункт. Приблизившись, увидел одноэтажный дом, покрашенный известью. Восемь окон в длину, два окна сбоку. Крыша уголком, низенький штакетник вокруг. За домом растут невысокие лиственницы. Напротив, через улицу, стоял почти такой же домик, только поменьше. И за ним тоже какие-то дома. Сбравшись с духом, Пётр Поликарпович направился к самому большому дому, рассудив, что это и есть стационар.

Встретили его ни хмуро и ни ласково, а совершенно равнодушно. Спросили, с чем пожаловал.

— Да вот, — сказал он как бы с сомнением, — грудь у меня болит. Вот здесь. Дышать трудно. Вообще мне очень тяжело. Работать не могу. Сил нет совсем.

Фельдшер – усталого вида пожилой мужчина с цепким взглядом коричневых глаз – велел ему раздеться до пояса. Затем стучал пальцами по рёбрам, слушая звуки, то склоняясь, то поднимая бритую голову, покрытую



седым пухом. Он смерил давление аппаратом «Рива-Рочи», потом оттянул большими пальцами веки у Петра Поликарповича и молвил со вздохом:

— Всё понятно. У вас глубокое истощение всего организма. Однако, никакой болезни я у вас не нахожу, хотя и здоровым вас тоже назвать нельзя. Так-то, голубчик! — и он поднял на пациента взгляд. — Освободить от работ я вас не могу. Увольте.

Пётр Поликарпович согласно кивнул.

— Да, я понимаю. Если освобождать таких, как я, так вовсе некому будет работать.

Фельдшер едва заметно улыбнулся, морщинки у глаз стали заметнее.

— Я не за этим пришёл, — продолжил Пётр Поликарпович. — Я вижу, что вы умный, понимающий человек, а мне очень нужен совет! Просто спросить больше некого.

Фельдшер подался вперёд, лицо стало внимательным.

— Говорите.

Пётр Поликарпович ощутил, как забилося сердце. Вот сейчас решится его судьба. Было чувство, что он идёт по болоту и вот-вот провалится в зыбкую почву.

— Вы опытный врач, многое уже повидали... А я... я три года провёл в следственной тюрьме, там на материке. Сидел в одиночной камере — без воздуха, без окон, в сырости, в страшной тесноте. Бывали дни, когда в камеру набивали двенадцать человек! Духота, вонь ужасная, параша всё время течёт... Сам не знаю, как я всё это выдержал. А потом, уже после следствия, нас три недели везли в столыпинском вагоне, по двадцать человек в купе — сами знаете, что это такое. А уж как мы по морю плыли, я вам и рассказать не смогу. Просто слов таких нету!.. И вот, наконец, я оказался здесь. Но ведь в этом лагере меня не оставят, это же пересылка! И вот мой главный вопрос: куда я теперь попаду? на что мне надеяться? — И он устремил на фельдшера испытующий взгляд.

Тот задумался на секунду, потом ответил:

— Этого я не знаю. Да и никто этого не знает. Тут всё решает случай, кому как повезёт. Хотя понятно, что почти всех заключённых отправляют на золотые прииски. Но если только очень сильно повезёт, тогда вы можете попасть в более приличное место.

— Вот-вот, — подхватил Пётр Поликарпович, — если повезёт. Но я не могу полагаться на случай. Вы видите, что я уже не молод, я не выдержу работы на прииске, судя по тому, что об этом рассказывают. Вы согласны со мной?

Фельдшер медленно кивнул.

— Согласен. На приисках очень высокая смертность.

— И я вот что подумал... мне сказали знающие люди, что тут где-то есть крупный лагерь, Сеймчан называется. Слыхали о таком?

Фельдшер кивнул.

— Слышал, конечно, хотя сам и не был ни разу. Там овощеводческое хозяйство. Есть и вольный посёлок. Это на самой Колыме, шестьсот

километров отсюда. Они снабжают овощами всю округу. Заключённые там живут неплохо, сравнительно, конечно. Сами понимаете – свежие овощи, теплицы и всё такое. Это вам не золото.

— Да, я понимаю, — быстро проговорил Пётр Поликарпович, всё больше волнуясь. — Так я вас прямо хочу спросить: нельзя ли мне попасть в этот лагерь? Срок у меня не очень большой – восемь лет. Тем более, что три года я уже отсидел в тюрьме, осталось не так уж и много. Это возможно?

Фельдшер молча смотрел на него. Казалось, он не слышал вопроса.

Пётр Поликарпович ждал, что он скажет, но тот молчал.

— Могли бы вы мне помочь в этом деле? — снова спросил Пётр Поликарпович.

Фельдшер отрицательно помотал головой, продолжая внимательно смотреть на пациента.

— Вы же сами сказали, что у меня глубокое истощение, — закончил Пётр Поликарпович упавшим голосом.

Фельдшер всё смотрел на него, словно не узнавая. Потом качнулся всем телом и молвил:

— Если я помогу вам, то нас обоих обвинят в сговоре. Затеют следствие. И мне и вам не поздоровится, будьте уверены.

— Да вы что! — поразился Пётр Поликарпович. — Какое следствие? Ведь вы же врач.

— Ну и что из этого? — улыбнулся фельдшер. — Вы думаете, врачей не расстреливают? Да что там говорить! — горестно вздохнул он и махнул рукой.

Пётр Поликарпович медленно поднялся со стула.

— Значит, вы мне не поможете?

Фельдшер глянул на него снизу.

— Хотите, я расскажу вам один случай? Прошлой зимой дело было, на моих глазах всё происходило. Работал тут у нас врач, из заключённых, как и все тут. А в лагере с проверкой был его давний знакомец по воле. Какой-то профессор, с бородкой и в пенсне. Проверял, как мы тут боремся со вшами. И вот этот профессор видит в лагере своего бывшего ученика, расспрашивает его обо всём, ужасается, а потом усиленно хлопочет за него у начальника лагеря, говорит о его невиновности, просит освободить и всё такое. Начальник лагеря обещает разобраться, и как только профессор уезжает, пишет докладную старшему оперуполномоченному НКВД. Через месяц в Москве арестовали этого профессора, а у нас тут взяли в оборот его ученика, а заодно загребли нескольких санитаров; всех их увезли в Магадан, посадили в дом Васькова. Ещё через месяц всех их расстреляли. И профессора тоже. Смею вас заверить: случаев таких полно. Вы просто ещё ничего не знаете. Вам повезло, что ко мне обратились. Был бы другой человек на моём месте – не миновать вам штрафного прииска.

Пётр Поликарпович с раскрытым ртом слышал этот невероятный рассказ. Не верить фельдшеру он не мог, но и поверить в сказанное было невозможно. Или фельдшер чего-то недоговаривает, или в окружающем мире

что-то такое произошло, чего он совершенно не понимает. Мир переменялся. Стал не просто другим, он стал антимиром, где всё не так, всё наоборот. В этом мире нет никакой логики, отсутствует элементарный здравый смысл. В нём нет добра, но одно лишь зло – ужасное, непобедимое зло и — жестокость.

Петру Поликарповичу вдруг стало трудно дышать. Он опёрся рукой о край стола и опустил голову, стараясь собраться с мыслями.

— Поверьте мне, я вам искренне сочувствую, — проговорил фельдшер. — Но я и в самом деле не могу ничего для вас сделать. Если бы у вас не было руки или ноги – тогда другое дело. Да вас бы сюда и не привезли. Выглядите вы неплохо. Скорее всего, вы попадёте на общие работы. Тут уж ничего не поделаешь. На золотых и оловянных приисках работают девяносто процентов всех заключённых, какие сюда прибывают. А если взять пятьдесят восьмую статью – так их поголовно на прииски отправляют! На это есть специальное указание из Москвы. Так что готовьтесь. Если станет совсем уже невозможно, идите в лагерную больницу и требуйте отправки в инвалидный лагерь на двадцать третий километр, на освидетельствование. Это для вас единственный шанс выжить. И постарайтесь вырваться с приисков до сильных морозов. Сейчас лето стоит, тепло. Но вы не представляете, что там делается зимой. Я видел обмороженных с приисков, их в грузовиках сюда привозят, как дрова. Это жуткое зрелище! Уж на что я ко всему привычный, но и мне тяжело на всё это смотреть. Надеюсь, с вами этого не случится. Хотя, заранее знать ничего нельзя. Остаётся лишь уповать на Господа Бога! — И он печально посмотрел на Петра Поликарповича.

— Пойду, — произнёс тот, вставая. Сделал два шага и обернулся: — Спасибо. Вы первый человек, кто так вот просто поговорил со мной. Я этого никогда не забуду.

— Прощайте, — сказал фельдшер с мрачным видом. — Надеюсь, вам повезёт.

Пётр Поликарпович не помнил, как вернулся в барак. Сосед по нарам – долговязый черноволосый мужчина со скуластым лицом, буркнул недовольно:

— Ты что, письмо с воли получил? В семье что-нибудь случилось?

Пётр Поликарпович поднял невидящий взгляд, через силу ответил:

— Ничего не случилось. Всё нормально. — И отвернулся.

Он разом отяжелел и обессилел, постарел сразу на несколько лет. Выглядел как глубокий старик, с потухшим взглядом и обвисшим лицом. Жить не хотелось.

Эту ночь он спал как убитый. Ни мыслей, ни чувств, ни образов. Одна лишь тьма – глухая и вязкая, в которой нет ничего.

Прошло три недели – в оцепении чувств, в бессилии, без надежд и просветов. Словно что-то надломилось внутри – и сил не стало. Не стало желания жить, цепляться за эту жизнь. Утром Петра Поликарповича грубо

расталкивали и стаскивали с нар свои же товарищи. Почти ничего не соображая, Пётр Поликарпович с трудом поднимался и брёл вслед за всеми: куда они, туда и он. Столовая с липкими столами и гнусным варевом в измятых мисках, развод на работы с матюками и угрозами, потом долгое нудное шествие по пыльной каменистой дороге. Уже не хотелось глядеть по сторонам, любоваться красотами. Зелёные сопки вызывали отвращение, от острых запахов чужой земли мутило. День длился бесконечно долго. Солнце недвижно стояло на небосводе, а проклятая работа никак не кончалась. Из последних сил Пётр Поликарпович поднимал носилки и шёл, покачиваясь и глядя себе под ноги. Руки разжимались сами собой, и однажды, когда он в очередной раз уронил носилки со щебнем, его товарищ подошёл сзади и сильно ударил его в ухо. Пётр Поликарпович свалился на землю и долго лежал, ничего не понимая. Никто к нему не подошёл, не помог подняться. Все продолжали работу, будто ничего не случилось. Конвоир бросил на него равнодушный взгляд и отвернулся.

Наконец, подошёл бригадир. Глянул сверху и сказал:

— Ну чё разлётся? А работать за тебя кто будет? Полежал чуток, и будет. Давай вставай. Чай, не министр.

Пётр Поликарпович кое-как поднялся. Что «не министр», это он и сам знал. Знал также, что среди заключённых есть и бывшие министры, и генералы, и секретари обкомов, и референты членов ЦК, и даже бывшие следователи. Отличить их от обычных зэков было почти невозможно. Так же как нельзя было признать в самом Петре Поликарповиче известного на всю Сибирь писателя, инженера человеческих душ. Лагерь всех безжалостно равнял, делал безликими, жалкими. И, что хуже всего, лагерь заставлял самих людей верить в то, что они ничтожества и заслужили такое к себе отношение. Поверить в это было легче, чем продолжать считать себя чем-то особенным. Поверивший легко сносил побои и оскорбления, безропотно исполнял все приказания и особо не переживал. А те, кто продолжали считать себя «человеками», испытывали бесчисленные унижения, начиная с утренней побудки и кончая вечерней поверкой. Таких надолго не хватало, они и погибали первыми.

Пётр Поликарпович долго помнил тот подлый удар, полученный не от следователя и не от конвоира, а от своего же собрата заключённого. После этого много было ударов и зуботычин, но они уже не вызывали особого протеста или удивления. Всех бьют. Чем же он лучше других? Но тот первый удар он помнил до самой смерти.

Лето на Колыме очень коротко. В августе уже заморозки, а в конце сентября на сопках лежит плотный снег.

Пересыльный лагерь жил своей жизнью: этапы регулярно приходили и уходили. Приходили они с моря, с юга, а уходили по колымской трассе вглубь континента — на север. Пришёл черёд и Петру Поликарповичу совершить этот скорбный путь. Холодным сентябрьским утром, сразу после развода его не отправили, как обычно, на работу. Хмурый нарядчик подошёл

к нему и велел идти к лагерным воротам. Пётр Поликарпович почувствовал облегчение в первую секунду: не надо идти на работу вместе со всеми, он не будет сегодня таскать ненавистные носилки. Уж что там будет завтра, а сегодня он работать не будет. К удивлению своему, Пётр Поликарпович не испытывал страха. Наоборот, ему даже стало как-то легче. Настолько ему опостылел этот лагерь, что он рад был любой перемене, только бы уехать отсюда. Там, на новом месте, он постарается сразу поставить себя независимо, не позволит унижать себя. Чувство тревоги, постоянного ожидания чего-то ужасного — вконец измотали его. Но теперь всё это заканчивалось. Он узнает всё до конца, не надо больше мучиться неизвестностью. В глубине души он надеялся, что все те ужасы, про которые ему рассказывали бывалые зэки, окажутся выдумкой. Всё-таки, теперь не средневековье. На дворе двадцатый век. Советская власть не позволит без причины издеваться над людьми — над преданными ей гражданами, пускай оступившимися, но не потерянными для общества, для семьи, для будущего великой страны. Пусть ему будет тяжело, пусть будет многочасовая работа в золотом забое; он постарается работать честно, будет стараться изо всех сил. И если не выдержит, не сможет работать как надо, тогда он честно об этом скажет начальству, что он очень старался, но не смог, потому что это выше его сил. Не звери же они, в конце концов! Поймут, оценят его старание и прямоту... От таких мыслей ему становилось легче. Грядущие перемены уже не пугали. Жизнь брала своё, находя лазейки там, где их, кажется, уже не оставалось.

К лагерным воротам со всех сторон тянулись заключённые, вид у всех был озабоченный. Заключённые вполголоса переговаривались, то и дело слышалось слово «этап». Конвоиры злобно покрикивали и уже открывали ворота, за которыми стояли два грузовика с высокими бортами. Прозвучала команда, и заключённые гурьбой полезли в кузов. Пётр Поликарпович поставил ногу на колесо, взялся рукой за борт и довольно ловко забрался в кузов, занял место на низенькой скамейке у самой кабины по правому борту. Он видел через заднее стекло кабины шофёра в телогрейке и шапке-ушанке, справа от него сидел молодой лейтенант в длиннополой шинели с кожаной планшеткой через плечо. А в кузов всё набивались заключённые. Петра Поликарповича вплотную притиснули к кабине и к занозистому борту, так что он не мог пошевелиться. Скамейки стояли в кузове так близко, что согнутые колени упирались друг в друга, и заключённые то прижимали ноги к себе, сжимаясь в клубок, то поворачивались боком, толкая соседей и получая в ответ локтём в живот. Последними в кузов сноровисто запрыгнули два конвоира с винтовками, заняли угловые места сзади. На головы заключённых набросили рваный тент из выцветшего брезента, прихватили его тесёмками за борта, и машина, дав газ и вдруг дёрнувшись, стронулась с места. Пётр Поликарпович схватился за борт левой рукой, а спиной упёрся в доски, чтоб не биться хребтом при каждом рывке. Дорога была аховая. Кочки и колдобины, камни всех размеров; мельчайшая пыль вздымалась из-под колёс и до странности долго висела в стылом воздухе. Холодный воздух

продувал кузов насквозь, и заключённые кутались в свои бушлаты, прятались друг за друга, стараясь укрыть голову от пронизывающего ветра. Пётр Поликарпович притянул к спине край брезента, поднял воротник бушлата и втянул голову в плечи. Он видел позади машины столб пыли, а если повернуть голову влево, то в щелку можно было рассмотреть окрестные пейзажи. Однако, ничего интересного там не было. Сразу за длинным пологим подъёмом машина повернула вправо и, набирая ход, покатила по прямой как стрела трассе. Слева на многие километры расстилалась равнина, поросшая травой и кустарником; на самом горизонте виднелись довольно красивые горы, не очень высокие. Острых пиков не было заметно, верхушки гор словно бы сплюснуты и сглажены гигантской ладонью. Цвет всей этой местности, по мере её удаления, переходил от зелёных тонов в бурые и серые. Лишь небо было ярко-синим, казалось бескрайним. А ещё небо было пустынным и каким-то неподвижным, от него веяло холодом и безнадёжностью. Пётр Поликарпович запахнулся покрепче. Путь, судя по всему, предстоял неблизкий.

Машина ехала довольно ходко. Через три часа они подъезжали к «Палатке» — небольшому посёлку, устроившемуся посреди обширной равнины. Где-то на этой равнине расположились целых три лагеря, один из которых обслуживал колымскую и тенькинскую трассы (тенькинский тракт начинался от Палатки и вёл на север, спрямляя пути-дороги до богатейших золотых приисков Бохапчи и Омчуга), другой лагерь работал на местной железной дороге (тянувшейся через вечную мерзлоту и болота от самого Магадана); третий лагерь был женским, там шили одежду и обувь для заключённых (телогрейки, знаменитые бурки и «ЧТЗ», шапки-колымки, рукавицы, нательное бельё и прочее). Ничего этого Пётр Поликарпович не знал и не увидел. Разглядеть среди густой растительности серые бараки было довольно трудно. Правда, пока они ехали по трассе, то и дело видели заключённых на обочинах — они как заведённые махали лопатами, долбили кайлами и ломом землю, таскали грунт носилками; то же самое делал и он в пересыльном лагере. Смотреть на всё это было не интересно. А про то, что колымская трасса построена «на костях», он слышал много раз — так часто, что это уже и не волновало.

Зато всех волновал другой вопрос: куда их всё-таки везут?

В Палатке сделали первую остановку. Всем заключённым приказали сойти на землю для «оправки». Потом загнали обратно в кузов и велели сидеть тихо. Двое конвоиров остались сторожить машины с заключёнными, а двое других вместе с командирами отправились в приземистый домик, расположенный метрах в ста от трассы.

— Жрать пошли, — сообщил кто-то из заключённых. — А мы тут голодом сидеть должны, как собаки.

Никто не ответил. Все и так уже догадались о причинах остановки. И уж конечно никто не надеялся, что их пригласят отобедать в столовой для вольных, съесть тарелку супа или котлету с макаронами. О таких пиршествах уже и не мечтали. А вот от горбушки хлеба никто бы не отказался.

Через десять минут прибежали два конвоира и сменили тех, что охраняли машины. Лица их лоснились, они дожёвывали на ходу.

Пётр Поликарпович сглотнул слюну и отвернулся.

Ещё через десять минут все заняли свои места, и машины помчались дальше. И снова густая пыль висела над каменистой дорогой, а кузов трясло так, что голова гудела, а внутри всё обрывалось. Солнце стояло в зените, всем было жарко, всё сильнее хотелось пить. Сидеть на жёстких лавках, согнувшись в три погибели, было страшно неудобно. Но все терпели. Сойти с этого транспорта по своей воле было нельзя. А вокруг было всё то же – зелёно-бурая растительность и ничем не отличимые друг от друга сопки. Дорога петляла между этих сопок, кусты и чахлые деревца убегали назад, и тут же из земли словно бы вырастали новые – точно такие же. Смотреть на всё это было противно. Пётр Поликарпович закрывал глаза, стараясь забыться, и ему это удавалось на несколько минут. Потом следовал толчок, все подпрыгивали и хватались друг за друга, Пётр Поликарпович вздрагивал и судорожно оглядывался; вокруг было всё то же: однообразные пейзажи, белёсая пыль и слепящее солнце над головой. Так проходил час за часом. Десятки километры трассы оставались позади. Воздух становился резче, холоднее. Машина то взбиралась на перевал, натужно урча, то с грохотом катилась вниз, подпрыгивая на камнях. Казалось, конца-краю этому не будет. С перевалов было видно, что сопки тянутся одна за другой и уходят во все стороны света, теряясь вдали. Ни дымка во всей округе, ни намёка на жильё. Это была чёртова глушь – холодная, равнодушная и жестокая, подавляющая своей безбрежностью и какой-то дьявольской незыблемостью. Это было что-то неуничтожимое и неизменяемое. Поправить тут ничего было нельзя. Человек казался здесь даже не букашкой, а каким-то вирусом, мнимой величиной, незванным гостем. Тут не было места для человека. Сама жизнь казалась тут невозможной. Пётр Поликарпович представил, как убежит из лагеря — будет пробираться по этим нескончаемым сопкам, продираться сквозь кусты, брести по снегу, — и ему стало не по себе. Тут не было никаких ориентиров, никаких дорог и никакого жилья (не считая бесчисленных лагерей, теснящихся вдоль колымской и тенькинской трасс и их многочисленных ответвлений). Куда тут можно пойти? На севере Ледовитый океан, до которого несколько тысяч километров полного безлюдья. На востоке, в пятистах километрах, холодное Охотское море, за ним Камчатка и — край земли. Если идти на запад, то это тысячи километров непролазной тайги до самой Лены, до Байкала. А там свои лагеря и заставы.

Исхода отсюда не было. Он вдруг понял это с потрясающей душой ясностью. И уж после этого не смотрел по сторонам. Сидел, уткнувшись в колени, обхватив голову руками, стараясь ничего не слышать и не видеть. Так много часов, до следующей остановки.

Через пять часов, преодолев в общей сложности двести десять километров, обе машины остановились в Атке – посёлке, почти не отличимом от Палатки. Почти такая же округлая равнина, заросшая травой и кустарником, такие же сопки вокруг. Лагерь, правда, тут был один. Был и

небольшой посёлок. Когда Пётр Поликарпович осмотрелся, ему на миг показалось, что они никуда не ехали, а машина газовала на месте и вхолостую тряслась. Вокруг было всё то же, только солнце уже садилось, его косые лучи резали прозрачный воздух и придавали пейзажу какой-то неживой, пугающий вид. Присмотревшись, Пётр Поликарпович всё же заметил разницу: сопки тут были покрупнее, а сама равнина поменьше той, где они останавливались днём. Склоны сопки до половины покрыты кустарником, а выше была одна трава, кое-где желтела голая земля. Самые макушки гор были пустынные – ни деревца, ни травинки. А небо всё такое же – синее, глубокое и жутко пустое.

Всем заключённым приказали сойти на землю. Те недоумённо оглядывали пустынный пейзаж. В природе была разлита тоска, как это бывает при закатном солнце. Всем хотелось есть, все ждали, что их отведут в столовую, а потом устроят на ночлег. Вместо этого им велели «оправиться», а потом вытащили из кабины брезентовый мешок и стали раздавать хлеб. Заключённые брали пайки, придирчиво разглядывали.

— Больше ничего не будет, — объявил лейтенант. — Вода вон, в речке. Напьюсь.

Двое конвоиров уже тащили флягу с водой. Поставили возле машины и стали отирать пот со лба и отдуваться.

Все стали подходить к фляге. Черпали большой кружкой ледяную воду и жадно пили. Встал в очередь и Пётр Поликарпович. Пить хотелось нестерпимо. Чёрствый хлеб не лез в горло, казалось невозможным проглотить его всухомятку.

Голод – не тётка! Через полчаса все отведали местной водицы и съели хлеб. Становилось заметно темнее, и всем стало зябко – то ли от ледяной воды, то ли от ощутимо холодеющего воздуха. Заключённые с тоской смотрели на темнеющие вдаль строения. Понимали: всё это не для них. Местный лагерь не принял этап, не разрешил разместить заключённых на своей территории. Оно и понятно: каждый день мимо возят заключённых, и все норовят заехать внутрь, нажраться в лагерьной столовой (а продуктов и своим не хватает), потом для них требуют ночлега (свои заключённые спят вповалку в переполненных бараках). И начальник лагеря решил проблему просто: распорядился никого в лагерь не пускать, а проезжающие машины пусть себе едут дальше. Колымская трасса длинная – две тысячи километров. Лагерь впереди не счесть. Где-нибудь да приютят. А если и нет – пусть спасибо скажут, что заключённых везут на машинах. Начальник хорошо помнил, как в тридцать восьмом гнали от Магадана на север пешие этапы – по пятьсот и более километров. Да не летом гнали, а зимой, в лютый мороз. И ничего – шли! До места, правда, доходили не все. Бывало, что из тысячного этапа в посёлок Ягодный добиралось не больше сотни. Остальные оставались лежать в сугробах вдоль трассы – скрюченные синие трупы, превратившиеся в ледяные изваяния. Теперь не то! До Ягодного можно доехать за двое суток. До Сусумана – за трое. Из машины можно вообще не вылезать. Красота!



На этот раз потери были сведены к минимуму: после короткой остановки машины поехали дальше. Лейтенант здраво рассудил: лучше плохо сидеть в кабине грузовика, чем хорошо стоять на охолодевшей земле под жутким колымским небом. О заключённых он вовсе не думал, зная по опыту, что эти скоты всё стерпят. Главное, чтоб не разбежались по дороге. И чтоб не околели втихаря. Сдать их всех согласно списка – и вычеркнуть из памяти. Это не он всё это придумал. Не ему эту практику и менять.

Местность постепенно поднималась, плавно переходя в высокогорье. Дышать становилось труднее. Солнце зашло, и сразу сделалось темно и холодно. Заключённые укутались в своё тряпье и согнулись, стараясь сберечь остатки тепла. Пётр Поликарпович стал утрачивать чувство реальности. Эта темнота, непрекращающаяся тряска, этот ледяной ветер, задувающий со всех сторон, эти болезненные удары в спину и с боков, этот надсадный шум мотора и странное чувство полёта – всё это мешалось в какую-то какофонию. В иные минуты он сам себе казался машиной, рёв мотора исходил из глубины его естества; казалось, это он несётся среди ночи, высвечивая огненным взглядом каменистую землю, выхватывая из пугающей тьмы странно изогнутые кусты на обочинах. Нет никакой тишины, и нет покоя в мире – всё куда-то несётся и падает, всё зыбко и повсюду гибель. В таких смутных ощущениях, в приступах ужаса и бессилия, в обмороках беспомощности проходили часы. Позади оставались долгие километры, а впереди была страшная ночь, которая, казалось, не кончится никогда.

Но всё на свете рано или поздно заканчивается. Закончился и этот этап. К исходу вторых суток, преодолев пятьсот двадцать километров, обе машины въехали в посёлок Ягодный – административный центр огромного золотоносного района, на территории которого расположились самые страшные колымские лагеря, в их числе знаменитая расстрельная тюрьма «Серпантинка», которой пугали всех заключённых на Колыме. Тут же были лагеря «Штурмовой» и «Ледяной», «Бурхала» и «Свистопляс», «Дикий», «Эльген», «Партизан», прииски имени Горького и Водопьянова, знаменитая «Джелгала» (которую Шаламов впоследствии называл «сталинским освенцимом») и ещё несколько десятков лагерей; все они добывали золото из вечной мерзлоты; попасть в любой из них было равносильно смерти. Через полвека жители Ягодного установят памятник на месте «Серпантинки», на чёрной гранитной плите выбьют текст:

**«На этом месте находилась следственная тюрьма «Серпантинка».  
Здесь были казнены десятки тысяч репрессированных граждан,  
прах которых покоится в этой земле».**

Но ведь у каждого лагеря тоже были свои братские могилы. Никто бы не стал увозить трупы заключённых в другой лагерь. Да и какая разница, где хоронить? Земля везде одинаковая. Главное, сделать так, чтоб незаметно было. На месте захоронений – ни крестов, ни памятников, ни

опознавательных знаков. Уж если к живым не было никакого сочувствия, то мёртвым и подавно нечего жалеть.

Вновь прибывших приняли в Ягодном сравнительно неплохо: всех их разместили в местной пересыльной тюрьме. В столовой налили каждому полную миску горячей баланды, которую все признали необыкновенно вкусной (после двух суток чёрствого хлеба и ледяной воды). Потом их отвели в барак и заперли на ночь. Пётр Поликарпович доплёлся до нар и упал лицом вниз на голые доски. Вокруг суетились и шумели – он ничего не слышал. Через минуту он уже спал – как есть, в одежде и в ботинках, прижимаясь щекой к доске и вовсе не чувствуя неудобства. О том, что будет дальше, он не думал. На это не было сил.

Утром, когда заключённых выгнали из барака, Пётр Поликарпович увидел довольно высокие, покрытые снегом горы, окружившие посёлок сплошной цепью. До гор было километров пять. Как почти все колымские поселения, Ягодный расположился посреди обширного плато, вытянулся вдоль извилистой неглубокой речки. Пересыльный лагерь расположился на пологом склоне чуть севернее посёлка. С южной стороны, далеко внизу, виднелась довольно широкая река, противоположный берег её был сплошь покрыт кустами и тонкоствольными деревцами. Дальше шёл кедровый стланик, затем снова кусты и трава, затем начинались сопки – камни и суглинки; на самом верху громоздились снежные шапки. Речка носила странное имя Дебин, деревья на её берегах назывались Чосении (или «Чизеня», как величали её местные). Геологи пришли сюда каких-нибудь десять лет назад и подивились удобному расположению долины и обилию ягод. Росли тут голубика и брусника — в изобилии. Так и прозвали всю эту долину – «Ягодная», будто надеялись, что здесь будут добывать ягоду, закатывать её в бочки и отправлять на материк... Ничего подобного, к сожалению, не случилось. Ягоду заключённые и в глаза не видели. А на материк отправляли одно лишь золото – десятками тонн. Взамен оставляли в долине выпавшие зубы и волосы, и даже целые скелеты с остатками гниющей плоти – тысячи, десятки тысяч скелетов обычных людей, вовсе не помышлявших ни о каком золоте, ни о какой Колыме, слыхом не слыхивавшие этих чудных названий: Ягодное, Дебин, Хатыннах, Среднекан, Чизеня (и проч.). Однако, всё это стало для них не просто реальностью, а стало их второй жизнью — во всей её полноте и беспощадности. К этой жизни нужно было привыкать с первого же шага.

В Ягодном вновь прибывших, конечно же, не оставили. Тут были свои счастливы, отбывавшие сроки в пересыльном лагере, избавленные от общих работ, держащиеся за свои места со всей неистовостью загнанного в угол человека. Тут же, за посёлком, в каких-нибудь шести километрах, была знаменитая на всю Колыму больница – Беличья (на сто с лишним коек). В этой больнице спасался от смертных золотых забоев Варлам Шаламов. Грузовик, на котором ехал Пётр Поликарпович, проехал мимо этой больницы, в километре от её ворот. За этими воротами находился будущий летописец Колымы, тридцатитрёхлетний и пока ещё никому не известный

заключённый – высокий и страшно худой, шатающийся от слабости и ведущий отчаянную борьбу за свою жизнь. Шаламов многое мог бы рассказать Петру Поликарповичу о золотых приисках Хатыннаха, где он сам едва не погиб пару лет назад. Но встреча эта не состоялась. Жизнь гораздо прозаичнее художественного вымысла (и человеческих чаяний). Счастливые встречи и совпадения чрезвычайно редки в реальной жизни. В реальной жизни человек не спасается от смерти в последнюю секунду. Ему не дают единственно верного совета, когда совет этот жизненно необходим, ему не протягивают руку помощи, когда он молит о спасении. Земля без всякого намёка и предупреждения разверзается под ним, и он летит в бездну – под громкий хохот окружающих. Даже если кто-то и не смеётся, то и не пытается спасти. Всем всё равно (за редчайшим исключением, как это было в случае с Шаламовым). Быть может, где-нибудь в другом месте и в другую эпоху всё было не так или даже совсем иначе. Но на Колыме, в эпоху Виссариона Иосифовича Сталина, всё обстояло таким вот неприглядным образом. А если бы дело обстояло по-другому, тогда на Колыме не погибло бы такое огромное количество ни в чём не повинных людей (добавим в скобках).

Итак, путь для всех вновь прибывших заключённых лежал дальше. В Ягодном этап разделили: одну машину отправили на прииск «Партизан», а другую – на прииск имени Водопьянова. Пётр Поликарпович оказался во второй машине. И хотя обе машины поехали дальше по одной дороге, и сами прииски были не очень далеко друг от друга (сорок километров по прямой), но судьбы заключённых с этой минуты разошлись раз и навсегда. Никто больше не слышал о тех, кто ехал в другом грузовике. Да никто особо и не интересовался. Каждый сражался в одиночку – за свою единственную и неповторимую жизнь. На эту борьбу уходили все силы.

Сразу за посёлком машина, в которой ехал Пётр Поликарпович, свернула с колымской трассы направо и поехала на север. Дорога едва заметно поднималась в гору, пока, через пять километров, вдруг не стала петлять. Подъём стал заметно круче. Скорость упала, мотор натужно ревел. Слева был поросший низкорослым густым лесом склон горы, а справа открывался крутой спуск в глубокую долину, на самом дне которой вилась небольшая речка. Уклон всё возрастал, машина газовала из последних сил, и казалось, вот-вот остановится. Заключённые с беспокойством оглядывались. Самое время было выпрыгнуть из кузова. Но конвойные спокойно сидели на своих местах. Видно, им всё это было не впервой.

И точно, через несколько минут грузовик одолел крутой подъём, сделал очередную петлю и, вырвавшись на простор, стал набирать ход. Справа всё так же было глубокое, окинутое тенью ущелье, а слева высился крутой, поросший лиственницей склон. Пётр Поликарпович невольно залюбовался открывшимся видом. Горы здесь были крупнее, чем возле Магадана. Всё тут было строже и суровее. Гористая местность простиралась на сотни километров, вершины гор казались сахарными, а от разделявших их ложбин веяло холодом и какой-то неизбежностью. Картина была жуткая и чарующая в одно время. Если б не конвой, не мрачно поблескивающие винтовки, не

злые лица, — можно было залюбоваться этими дикими просторами, восхититься этой мощью и беспредельностью. Машина рвалась вперёд, ледяной ветер неистово рвал брезент. Горная цепь уплывала вправо и назад. Ещё один поворот, и машина выехала на равнину. Сразу сделалось холоднее, все это почувствовали и стали кутаться в своё тряпье. Но ехать было уже недалеко. Через несколько километров дорога пошла под уклон, потом вдруг завернула влево, потом вправо, потом опять влево... — началась знаменитая «Серпантинка» — дорога, давшая название одному из самих жутких колымских лагерей. Мимо этого лагеря проезжали все этапы, идущие на Хатыннах — на его многочисленные прииски. Никто из проезжающих не знал, что каждую ночь здесь расстреливали людей — десятками, а иногда и сотнями зараз. Хоронили их тут же, в длинном глубоком овраге. Людей выстраивали в шеренгу на откосе, потом в них стреляли, и люди падали вниз (где уже лежали под тонким слоем их товарищи); упавших присыпали сверху тонким слоем земли, приготавливая место для следующей партии казнимых. Вся толща земли в этом овраге на несколько десятков метров была утрамбована человеческими телами. Однако, со стороны этого нельзя было увидеть. Ни тогда, ни полвека спустя, эти братские могилы нельзя было заметить; земля надёжно укрывала следы кровавых расправ.

Проехал мимо «Серпантинки» и Пётр Поликарпович. Взгляд равнодушно скользнул по двум деревянным вышкам, мелькнувшим слева, в двухстах метрах от дороги. Вышек этих он видел вдоль колымской трассы бессчётное число раз, и все они походили одна на другую. Одной больше, одной меньше — какая разница?

До Хатыннаха было уже недалеко — каких-нибудь три километра. Машина спустилась в долину, переехала небольшой деревянный мост через речку и поехала вправо вдоль песчаного берега Хатыннаха — реки, давшей название и посёлку, и всей этой огромной долине, протянувшейся на сорок километров, а в ширину достигавшей десяти километров. Вся эта площадь была густо усеяна лагерями, потому что в двадцать восьмом году доблестные советские геологи нашли здесь богатейшие россыпи промышленного золота. Посёлок Хатыннах стоял посреди золотоносных песков, которые, впрочем, снаружи ничем не отличались от песков обычных (песками здесь называли любой грунт, даже и такой, в котором собственно песка не было вовсе). Заключённые с недоумением глядели на неглубокую речушку с её причудливыми извивами, на бурую растительность на её берегах и желтые отвалы песков, на белёсые камни и сухую глину на дороге, поднимали взгляд на цепочку гор, словно бы охранявшую долину от злых духов. Чувствовалось как-то сразу, что это был своего рода «затерянный мир» — со своим воздухом, со своими запахами и со своим особенным небом.

Машина остановилась посреди посёлка. Заключённым приказали сидеть в кузове и не высовываться. Сопровождающий вылез из кабины и пошёл быстрым шагом к двухэтажному каменному зданию казённого вида. Часовой на входе проверил у него документы, потом пропустил внутрь. Полчаса

спустя лейтенант вернулся к машине, что-то сказал шофёру, кивнул конвоирам, и машина тронулась. Лейтенант остался стоять на дороге.

Все думали, что ехать придётся долго, но через пять минут машина затормозила. Конвоиры сорвали с кузова брезент.

— Вых-ходи! — прозвучала команда.

Заключённые стали вразнобой прыгать на землю. К ним уже шли от лагерных ворот двое военных. Над воротами висел знакомый лозунг: «Труд в СССР — дело чести, доблести и геройства».

— От работы кони дохнут! — хмыкнул кто-то из заключённых.

Заключённых построили в колонну и сделали перекличку. После чего повели к воротам. Пётр Поликарпович прошёл под лозунгом, чувствуя нарастающую тревогу. Впереди виднелись приземистые черные бараки, все они казались нежилыми. На самом деле, в бараках спала ночная смена. Работа на прииске была организована предельно просто и эффективно — никаких выходных и никаких простоев. Заключённые работали в две смены, по двенадцать часов, сменяя друг друга — в любую погоду и в любое время года. Пока одни кайлили грунт, другие занимали опустевшие бараки (и наоборот). Золота в земле было много. Лагерное начальство торопилось его взять и получить положенные награды и повышение по службе. С начальства спрашивали только план — требовали тонны благородного металла. Сколько при этом погибнет заключённых, в каких условиях они живут и каковы их человеческие потребности — об этом у начальства голова не болела, потому что для начальства всё это было третьестепенным делом. За гибель людей никого не наказывали. А вот за невыполнение плана наказывали всех, начиная с начальника лагеря и заканчивая последним доходягой. Начальник писал отчёты и объяснительные и рисковал не только погонами, но и своей головой, а доходяги расплачивались своими рёбрами и выбитыми зубами (потому что больше с них нечего было взять). Выполнение плана достигалось предельно просто: заключённых нещадно били, лишали пищи, садили в ледяной карцер, тащили на работу на специальных волокушах, влекомых лошадьми; иных расстреливали — для острастки, стало быть (благо, «Серпантинка» была неподалёк). Впрочем, неизвестно, что было хуже — медленная смерть от голода и побоев или мгновенная пуля в затылок. Многие заключённые считали, что последнее было гораздо гуманнее и легче.

Все прибывшие ждали баню и санобработку. Но тут были свои порядки. Новичкам выдали кайла и лопаты и повели не в барак и не в столовую, а в разрез, где с восьми утра трудилась дневная смена. Разрез находился в полукилометре от лагеря, на берегу Хатыннаха. В огромной глубокой яме овальной формы копошилось множество людей. По глинистому дну были проложены деревянные мостки, заключённые катили тачки с грунтом по этим мосткам, высыпали содержимое в стоящий наверху большой деревянный короб; внутри бутары (так назывался короб) работало двое заключённых — они сваливали грунт лопатами в округлое отверстие — прямо на движущуюся внизу ленту, которая доставляла грунт наверх к промывочному прибору. Пётр Поликарпович впервые видел столь странную

конструкцию: что-то вроде детской деревянной горки для катания на санках. Только горка была высотой с пятиэтажный дом и имела два длинных пологих спуска. То есть, спуск был один, а другой служил для подъёма. Наверх поднималась золотоносная порода (из бутары), и вниз спускалась она же, только на её пути были разные преграды и фильтры – земля и камни последовательно отделялись от крупниц золота. Все эти премудрости были пока неведомы Петру Поликарповичу. Но ему и не надо было всего этого знать – на то были другие умельцы. Его поставили среди тех, кто наполнял тачки золотоносной рудой – на самом дне разреза. Лопата была совковая, с длинной неудобной ручкой. Но Пётр Поликарпович умел обращаться с этим нехитрым инструментом и, поплевав на ладони, энергично принялся за работу. Его появление не вызвало никакой реакции у соседей, будто он всегда тут был. Никто даже не повернул головы. Все мерно захватывали лопатами каменистый грунт и кидали его в деревянные тачки, наполняя их до краёв. Пётр Поликарпович с уважением посмотрел на тех, кто возил эти тяжёлые и неудобные конструкции вверх по трапу. Веса в них было поболее центнера.

Первый час работа спорилась. Пётр Поликарпович разогрелся и даже повеселел. Ничего! Не так страшен чёрт, как его малюют. К тому же, наступило время обеда. Против ожидания, заключённых не погнали в столовую, а стали раздавать кашу в мисках тут же, в карьере. Дали такую миску и Петру Поликарповичу. Усевшись на камень, он стал неспешно поглощать водянистое варево, незаметно оглядывая окружающих. Все ели торопливо, не глядя по сторонам. В эти же миски наливали жидкий несладкий чай и давали всем по пирожку с картошкой.

На всё про всё ушло меньше десяти минут. Ещё минут пять отдыхали, растянувшись на земле, а потом где-то наверху ударили в рельс, все подняли с земли лопаты, взяли за тачки – и работа продолжилась. Такая спешка не понравилась Петру Поликарповичу, но он ничем не выдал своего недовольства. Нужно было работать не хуже других. Ведь он решил делом доказать свою лояльность советской власти, ударным трудом искупить вину (пускай и несуществующую). Пусть его считают врагом – это не главное. Главное – работать не хуже других. И тогда все оценят его старание, его терпение и мужество.

Однако, всё оказалось не так просто. К вечеру на ладонях появились волдыри, а спина почти уже не разгибалась. Лопата не держалась в ослабевших пальцах, в глазах мутилось. Пётр Поликарпович с тоской поглядывал на товарищей, без усталости махавших лопатами. Иногда они менялись: те, что катали тачки, брали в руки лопаты, а рудокопы катали тачки к бутаре. Но к Петру Поликарповичу никто не подходил, не предлагал поменяться. Лишь бригадир – задумчивый белобрысый мужик деревенского вида — изредка бросал на него косые взгляды и тут же отворачивался. Он и сам не стоял на месте, работал наравне со всеми.

Уже смеркалось, когда в разрез спустилась вторая смена. Пётр Поликарпович с облегчением положил лопату на землю и пошёл вслед за

всеми навверх. Дальше всё было как обычно: озлобленный конвой, бестолковое построение и перекличка хриплыми голосами; бригада, наконец, двинулась в лагерь. Пётр Поликарпович чувствовал какое-то раздвоение: он точно знал, что сегодня утром приехал в этот лагерь на грузовике, и в то же время ему казалось, что он уже давно тут находится. Вот сейчас они придут в столовую, сядут за липкие столы и будут жевать безвкусную кашу. Потом двинутся в барак, лягут на нары и провалятся в сон, как в яму. Словно и не уезжал из магаданской пересылки. Те же бараки, такие же бушлаты и телогрейки, и та же печать отрешённости на измученных лицах.

Вечером уже, после ужина, бригадир подвёл его к вагонке и сказал, положив руку на верхние нары:

— Вот твоё место. Тут будешь спать. Подъём в шесть. Вставай сразу по команде. Делай то же, что и все. Понял? — и он поднял блеклые глаза на Петра Поликарповича. По взгляду этому нельзя было сказать: добр он или зол, умён или глуп. Глаза ничего не выражали. Они таили в себе пустоту.

Пётр Поликарпович на всякий случай кивнул:

— Да, я всё понял. — И тут же спросил: — Тебя как зовут? Есть тут зачёты рабочих дней?

Бригадир уже повернулся уходить, но остановился, глянул сбоку.

— Зачётов тут нет. А зовут меня Лёхой. Фамилия Зимин. Статья пятьдесят восемь, пункт десять. Будут ещё вопросы?

Пётр Поликарпович отрицательно мотнул головой. Хотя вопросов было множество: почему нет зачётов; есть ли тут больница; какова продолжительность рабочего дня; какие нормы питания, когда будет баня и где взять рукавицы для работы. Но он посчитал нескромным так вот сразу обрушивать на бригадира столько тем. Есть ведь и другие люди, можно у них узнать ещё вернее.

Он взобрался на верх шконки и увидел на соседнем лежаке черноволосого мужчину крепкого сложения. Тот смотрел на него в упор. Лицо было скуластое и серьёзное, но не злое.

— Здравствуйте, — сказал Пётр Поликарпович. — Соседями теперь будем.

Мужчина коротко кивнул.

— Устраивайся. Наверху-то оно теплее. Сейчас пока ещё ничего, а как морозы придут, так все навверх полезут. Ещё и драться будут за места.

Пётр Поликарпович насторожился.

— А что, холодно тут бывает?

Мужчина криво улыбнулся.

— Да уж не жарко. Прошлую зиму я был на Сусумане, так там три недели кряду минус пятьдесят пять держалось. В марте ещё стояли морозы за сорок. А тут нисколько не теплее. Так-то, браток.

Пётр Поликарпович помнил по своей деревне сорокапятиградусные морозы, как мгновенно прихватывало щёки, а вздохнуть было невозможно — воздух обжигал лёгкие, будто наждачной бумагой водили изнутри.

Пробежаться по околице в шубе и в валенках по такому морозу ещё можно

было, а целый день пробыть на улице не было никакой возможности. Это он знал твёрдо. И все односельчане это знали. В лютые морозы все сидели по избам и целый день топили печи берёзовыми дровами. Лепили пельмени всей семьёй, сидя за круглым столом, ставили кипятиться пузатый самовар, смотрели сквозь замерзшее стекло на заснеженную улицу и радовались, что в доме тепло и уют, пельмени и квашеная капуста.

— Послушай, как тебя? — обратился он к черноволосому.

— Дмитрием родители прозвали.

— Дмитрий, значит. Хорошо. А скажи-ка, когда морозы стоят, вы ведь не работаете? Мне говорили, что в сильные холода на работу не выгоняют. Потому что не положено.

Черноволосый оживился.

— А это уж как начальник решит. Надо будет — и в шестьдесят градусов отправит в забой, и будешь всю смену вкалывать, пока не околеешь. Бывали такие случаи! Конвою то что — разожгут костры и греются весь день у огня, да меняются каждые два часа, а ты паши как проклятый — одно и есть спасенье. А не то замёрзнешь... — и он добавил крепкое словцо, которое тут было очень кстати.

Пётр Поликарпович судорожно сглотнул.

— И что же, приходилось тебе в такой мороз вкалывать?

Черноволосый помрачнел.

— Приходилось. И тебе придётся. Не переживай. Зима тут длинная! На всех хватит. А станешь отказываться — ещё хуже будет. На Штурмовом прошлую зиму такую штуку откалывали: всех отказчиков загоняли в бревенчатый сруб без окон и с одной дверью, потом дверь запирали на амбарный замок, а сруб ставили на сани и отвозили на тракторе в тайгу за несколько километров и там оставляли. Через сутки сруб привозили обратно, замёрзшие тела выбрасывали, а внутрь загоняли следующую партию. Так и жили целную зиму. Зато работали как черти, боялись, что в тайгу увезут. А тут начальник, вроде, ничего, шибко не злобствует. Хотя, законы везде одинаковы. За три невыхода — расстрел. Так что ты сам смотри.

Больше Пётр Поликарпович ни о чём не спрашивал. Да и сил не было долго говорить. Он уронил голову на доски и сразу же уснул тяжёлым сном наработавшегося за день человека.

Кажется, только закрыл глаза, — и уже орут подъём. Голова раскалывается от боли, всё тело как неживое, нет сил пошевелиться. Но все вокруг поднимаются, прыгают на пол и уже топчутся в проходе. Спины раскачиваются в полутьме, никто ни с кем не разговаривает, только вдруг зарычит кто-то среди толпы, произойдёт сумбур, толкотня, неловкая драка с воплями и тумаками, и тут же всё стихнет, снова качаются спины, бригада идёт из барака вон.

Превозмогая себя, Пётр Поликарпович поднялся с нар и спустился на пол. Он спал в телогрейке и в ботинках, и так и пошёл вослед за всеми.



Это первое утро на прииске запомнилось ему надолго. Всё было в диковинку: довольно крепкий мороз и выпавший ночью снег; низкое мутное небо, пронизывающий ветер. Пейзаж вокруг был зловещий, какой-то нечеловеческий. Всё вокруг казалось придавленным невидимой дланью. Это было забытое Богом место, проклятая земля! Пётр Поликарпович поспешно опустил глаза. В груди болезненно заныло. Как же тут выдержать четыре нескончаемых года? Ещё зима не наступила, осень только началась, а уже так холодно и бесприютно. Что же будет, когда придут настоящие морозы?

Опустив голову, он брёл в колонне, стараясь не думать о том, что будет дальше. Жить одной минутой – вот спасенье для колымчанина! Не заглядывать далее сегодняшнего дня. А иначе – сойдёшь с ума или бросишься с кручи вниз головой.

Когда они уже были в разрезе, к Петру Поликарповичу подошёл бригадир.

— Будешь работать в паре с откатчиком, — произнёс, глядя исподлобья. — Норма на двоих – двадцать кубов. Если не выполните, оба у меня сядете на штрафпаёк. Я за вами следить буду. — И пошёл прочь, не дожидаясь ответа.

Стоявший рядом заключённый – невысокий щуплый парень — смачно сплюнул и выругался.

— Вот же, б..., наградили меня напарничком. Я-то почему должен за тебя отдуваться? — и он со злостью посмотрел на Петра Поликарповича.

— Да ты не кипятись, — ответил тот. — Я работать умею, не впервой.

— Ага, умеет он, — проговорил парень. — Видел я вчера, как ты умеешь. В общем, смотри, будешь филонить, я тебя вот этим вот кайлом приголублю, понял? Я из-за тебя подыхать не хочу.

Пётр Поликарпович кивнул:

— Ладно. Хватит трепаться. Давай работать.

Парень взял пустую тачку и подкатил к куче мерзлого песка.

— Объясняю первый и последний раз, — сказал внушительно. — Вот в эту тачку входит одна десятая куба. Нам на двоих нужно загрузить и перевезти в бутару двадцать кубов, это двести тачек. Сечёшь?

Пётр Поликарпович снова кивнул.

Парень продолжил:

— Работаем так: сначала ты насыпаешь, а я катаю. Потом меняемся. Ты мне наваливай тачку с горбом, а я тебе пока буду накидывать неполную, чтоб не скопытился с непривычки. Откатка тут не очень далёкая, но катить нужно в гору. Главное, держи колесо на доске. Вильнёшь в сторону – и улетишь, на фиг. Что рассыпешь – голыми руками будешь собирать. Там наверху нарядчик стоит с арматурным прутком. Гляди, чтобы не перетянул тебя по хребту. Спиной к нему лучше не поворачивайся. Тут от него уже пострадали двое, под сопкой оба лежат. Смотри, я тебя предупредил.

После таких речей Петру Поликарповичу ничего не оставалось, кроме как накинуться на работу. Он взялся за лопату и стал энергично кидать грунт в тачку. Ладони саднило от вчерашних мозолей, спина не гнулась, дышалось

тяжело, но он терпел, и всё кидал и кидал тяжёлые смёрзшиеся куски в прямоугольный зев тачки, пока не заполнил весь объём.

— Хорош, — остановил парень. — Смотри, как я делаю. Сначала приподнимаешь за ручки, но не шибко высоко, а слегка, только чтобы упоры от земли оторвать; потом упираешься в землю ногами и наклоняешься всем весом вперёд; толкать нужно прямо перед собой, и смотри держи равновесие.

Пётр Поликарпович внимательно смотрел, как парень сноровисто взялся за деревянные ручки, поднял рывком сантиметров на пять, резко наклонился всем телом и толкнул тачку вперёд; та словно бы нехотя сдвинулась и поехала, доска под ней гнулась и трещала.

— Наваливай вторую, пока я обернусь! — крикнул парень.

Пётр Поликарпович отёр рукавом телогрейки взмокший лоб и перехватил поудобнее лопату.

Первые десять тачек промелькнули как в калейдоскопе. Но потом дело внезапно осложнилось. Песок закончился, кидать стало нечего.

— Бери кайло и руби скальник, — сказал парень, быстро оценив обстановку. — Тут порода мягкая, хорошо пойдёт.

Пётр Поликарпович недоверчиво глянул на округлую выемку в вертикальной скале.

— Так это же долго будет, — произнёс неуверенно. — Не успеем норму сделать.

— А ты как думал? Если не кайлить, так любой дурак справится. А ты попробуй сначала раздолби эти кубики, а потом уж вози! Давай, не филонь. Обед скоро.

Пётр Поликарпович поднял с земли железное кайло с деревянной ручкой. Ручка была короткая, круглая, занозистая, а кайло — чуть изогнутое, похожее на клюв ворона. Весу в нём было килограмма три.

Неуверенно размахнувшись, Пётр Поликарпович воткнул кайло в песчаный откос.

— Ты чё, дурак? — воскликнул парень чуть не с восторгом. — Ты бей под камень, выворачивай его из земли. А песочек можно и лопатой взять. Смотри, как это делается!

Схватив другое кайло, он стал прицельно бить под округлый камень, выпирающий из стены. Несколько ударов, уверенный зацеп железным клювом, и камень вывалился на землю.

— А теперь лопатой шуруй! — сказал парень, опуская кайло и выпрямляясь. — Давай-давай, не стой. Время не ждёт.

Пётр Поликарпович ткнул лопатой в стену, но безуспешно. Лопата упиралась в смерзшийся грунт, скользила вбок, опадала на землю.

— Да-а-а, — протянул парень. — Так мы с тобой далеко не уедем. Он поплевал на ладони и взялся за кайло.

— Отойди-ка!

Через пять минут у его ног образовалась приличная куча.

— Ну чего стоишь, бери лопату, закидывай в тачку! — крикнул парень, продолжая энергично махать кайлом.

Пётр Поликарпович подивился такой силе в тщедушном теле. Мелькнула мысль: стоило ли так надрываться ради усиленного пайка?

Но он ещё не знал, что это такое – штрафной паёк. Каково это – когда не только бригадир, но и вся бригада презирает тебя, обзывает филоном, а каждый второй норовит дать подзатыльник. Когда повар на раздатке с отвращением швыряет тебе миску, а дневальный замахивается палкой всякий раз, когда проходишь мимо. Всего этого Пётр Поликарпович пока ещё не испытал, но глухая тревога уже шевелилась в душе. Все вокруг работали как звери, не поднимая головы и не взирая ни на холод, ни на усталость. «Видно, тут так принято», — подумал Пётр Поликарпович. Он взял лопату и принялся накидывать грунт в тачку.

Когда тачка была полна, парень кивнул:

— А теперь кати её наверх.

Пётр Поликарпович помедлил секунду, потом взялся за деревянные ручки, попробовал на вес. Едва-едва оторвал тачку от земли и сразу едва не опрокинул. Казалось невозможным ни сдвинуть её с места. Парень бросил кайло и быстро подошёл. Взял лопату и выкинул из тачки излишек грунта.

— Давай теперь. Пробуй. Я за тебя жилы рвать не собираюсь.

Пётр Поликарпович поднатужился и поднял-таки тачку, качнул пару раз и сдвинул её с места. С невероятными усилиями прокатил несколько метров по доске и выехал на центральный трап. Тут же на него заорали сзади:

— Ходу!

Он оглянулся — и не удержал тяжёлый груз, тачка завалилась на сторону, почти весь грунт высыпался на землю.

Тут же подскочил десятник с перекошенным лицом.

— Эх ты, раззява! Чего стоишь, болван, собирай быстро, пока я тебе в глотку этот песок не затолкал!

Пётр Поликарпович стал торопливо собирать вывалившийся грунт голыми руками. Дело шло очень медленно, тачка никак не наполнялась.

Десятник стоял рядом, ударяя в левую ладонь железной арматуриной. По лицу его перемещалась кривоватая ухмылка. Не понять было, радуется он или щерится от злости. Пётр Поликарпович изредка бросал на него взгляды через плечо, памятуя о предупреждении напарника.

Через пятнадцать минут он собрал весь грунт и, напрягая все силы, покати тачку к бутаре. Этот промах научил его многому. Он понял, что ни на сантиметр нельзя нарушать равновесие: если тачку повело вбок, то уже не удержишь. И ещё он понял, что нужно выбирать такой момент, когда по трапу никто не бежит. Он видел, как здоровущие тачечники попросту сшибали с трапа замешкавшихся товарищей, не желая ждать, когда те посторонятся. Всё это он принял как данность, с которой придётся жить. А ещё он с ужасом ощутил свою слабость. Все эти заключённые, высокие и низкие, жилистые и неказистые — были сильнее его. Он был тут самым слабым, и ощущение собственного бессилия поразило его в самое сердце. Он вдруг понял, что ни интеллект, ни образование, ни широта души тут ничего не значат. Ценилась одна лишь физическая сила. Выносливость животного,

бесчувственность носорога — вот что было в почёте, служило мерилom нравственности. Будь он моложе лет на двадцать, он бы всё превозмог, научился бы, приспособился. А что ж теперь?

Но рассуждать было некогда. Остановиться было нельзя. Задумчивый вид был здесь невозможен. Пётр Поликарпович высыпал грунт в деревянный короб и покати́л ставшую вдруг невесомой тачку вниз по запасному трапу.

Он хотел снова взять лопату, но парень не позволил.

— Катай пока тачку, приноравливайся. Полную не насыпай. Сегодня уж как-нибудь обойдёмся. А завтра будешь возить по полной, как все.

И ещё два часа Пётр Поликарпович возил на бутару золотиносный песок. Каждый шаг давался с неимоверным трудом. Казалось, что это последний рейс, больше он не сделает и шага. Но в забое его уже ждала новая тачка с песком, и он молча брался за неудобные ручки. Парень смотрел на его усилия неодобрительно, но помалкивал. Может, из уважения к возрасту, а может, вспомнил себя, как он сам тут работал первые дни. Так и дотянули они до обеденного перерыва. Пётр Поликарпович, покачиваясь, поднялся на пригорок и без сил опустился на холодный камень. Все вокруг торопились получить свою порцию каши, ревниво заглядывали в миски соседей, глотали водянистое варево и поминутно оглядывались, будто ждали нападения разом со всех сторон. Пётр Поликарпович вовсе не чувствовал голода, его подташнивало и клонило к земле. Он со страхом думал о том, как будет работать дальше. Сил уже не осталось, от одного вида тачки его мутило.

— А ты чего не жрёшь? — вдруг услышал он из-за спины. Обернувшись, увидел своего напарника. Тот держал в одной руке миску, а в другой горбушку хлеба. — Иди скорей за пайкой, пока не уехали. — Он кивнул на стоявших поодаль раздатчиков в грязных фартуках.

Пётр Поликарпович поднялся.

— Да, я сейчас...

Через несколько минут он подходил к раздатчикам. Один из них — здоровый лоб — смерил его взглядом.

— А тебе что, особое приглашение надо? В следующий раз опоздаешь — будешь лапу сосать у медведя! — Он захохотал во весь рот, сверкая стальными фиксами. Отсмеявшись, шмякнул в миску черпак каши. — На, шамай, пока я добрый.

Пётр Поликарпович взял миску и хлеб, отошёл в сторону. Ложки ему не дали, и кашу он отхлёбывал через бортик, увидев, как это делают другие. Каша была чуть тёплая, жидкая и совершенно безвкусная. Кое-как проглотив это варево, он вернул миску и пошёл обратно в забой. Напарник уже держал в руке лопату, приготовившись кидать грунт.

— Ну что, успел похавать? — спросил.

— Успел, — кивнул Пётр Поликарпович.

— Вот и ладно. Бери кайло и долби потихоньку. А я покидаю.

Пётр Поликарпович поднял с земли кайло и шагнул к отвесной выемке. В это время ударили в рельс. Обед закончился.

Дальнейшее было как во сне. Пётр Поликарпович так и эдак ударял кайлом в отвесную стену. Кайло то вонзалось в грунт, то отскакивало от камня и летело вниз. Раза два он заехал себе кайлом по ноге, до крови содрал ладони о корявую рукоять, и поминутно отирал пот со лба и щёк. Кажется, время остановилось, а проклятой работе не будет конца. Он забыл обо всём, видел лишь бугристую стену перед собой и слышал резкий режущий звук от лопаты, вонзающейся в песок. Напарник споро набрасывал полную тачку и увозил её прочь. Через несколько минут возвращался и брался за лопату. А Пётр Поликарпович всё орудовал кайлом, которое становилось всё тяжелее. Во рту пересохло, перед глазами стоял туман, и он уже не понимал, что делает. В какой-то момент почувствовал руку на плече и оглянулся.

— Отдохни чуток, — сказал парень, — а то с копыт скоро упадёшь.

Пётр Поликарпович опустил кайло, подержал его в подрагивающих руках и словно бы нехотя бросил себе под ноги. Кайло глухо стукнулось о землю.

Парень всё смотрел на него.

— Скажу бригадиру, чтоб перевели тебя на другой участок, — произнёс раздумчиво. — Тут ты не работник. И я из-за тебя ноги протяну.

Пётр Поликарпович слышал эти слова, но никак не мог вникнуть в их смысл. Понял лишь, что им недовольны. Но он и сам понимал, что работник он никудышный. Там, в Магадане, тоже было тяжело, а порой мучительно, но то, что было здесь, не шло ни в какое сравнение с работой на колымской трассе. Там можно было иногда останавливаться и работать не в полную силу, а здесь нельзя было стоять ни секунды. Там была обычная лопата и нормальные «человеческие» носилки. Здесь же, кроме тяжелой лопаты, было страшно неудобное кайло и неподъёмная тачка, которую нужно было катать двенадцать часов кряду. К концу смены они с напарником едва набрали половину нормы. Виноват в этом был Пётр Поликарпович, о чём напарник поминутно напоминал, обещая никогда больше не вставать в пару с таким филоном.

Кое-как дотащившись до барака, Пётр Поликарпович рухнул на нары и сразу забылся тяжёлым сном животного, загнанного до полусмерти.

И снова было тяжкое пробуждение, словно он восставал из мёртвых. Кто-то орал ему в ухо, тормошил и дёргал за рукав, потом посыпались удары, от которых он (как ему казалось) уворачивался, но на самом деле голова его безвольно моталась по доскам, а сам он походил на тряпичную куклу. Наконец его сбросили с лежака, и он сверзился на пол с полутораметровой высоты. Опора вдруг ушла из-под него, он ощутил щемящее чувство полёта, инстинктивно весь сжался и вдруг грохнулся оземь; всё тело прошило судорога, в голове ослепительно взорвалось, он вскрикнул от боли и широко раскрыл глаза.

— Поднимите его, — приказал кто-то.

Пётр Поликарпович почувствовал, как его берут под руки и поднимают. Поставили на ноги и крепко встряхнули.

— Ну же, стой прямо, тебе говорят!

Пётр Поликарпович поднял голову и словно в радужной дымке разглядел приземистого человека с волчьими глазами.

— Будешь работать? — спросил тот.

Пётр Поликарпович стоял, крепко сжав челюсти. Человек вдруг сделал шаг, и как-то странно дёрнулся. В ту же секунду голова Петра Поликарповича откинулась от сильного удара. Во рту стало горячо. Он провёл языком по сломанным зубам и выплюнул кровавое крошево на пол.

— Последний раз спрашиваю: будешь работать, гад? — последовал новый вопрос.

Пётр Поликарпович шатался как пьяный. Теперь он уже и не мог ничего ответить. Он не чувствовал ни губ, ни языка. Рот быстро наполнялся кровью, которую нужно было глотать, чтобы не захлебнуться.

Человек замахнулся, и Пётр Поликарпович упал навзничь, крепко ударился затылком о доски и потерял сознание. Спасительная тьма хлынула в мозг. И это было для него действительным спасением. Удостоверившись, что он в «полной отключке», бригадир с дневальным отступились. Послали за местным лепилой, а вся бригада отправилась в столовую, а потом на работу — делать то же, что вчера, и позавчера, и месяц назад. Эту смертельную карусель ничто не могло остановить.

Фельдшер — высокий худой дядька со злым лицом — пришёл быстро. Наклонившись, долго всматривался в лежащего на полу человека. Потом выпрямился и изрёк:

— В стационар.

Дневальный тут же запротестовал:

— Да ты что, начальник, какой стационар? Он же ничем не болен, обычный филон. Получил по морде пару раз от бригадира, и поделом ему!

Фельдшер посмотрел на него в упор.

— Ты хочешь, чтоб он тут дуба нарезал? Он сейчас кровью изойдёт, а на тебя дело заведут, срок добавят.

— Я-то тут причём? — опешил дневальный. — Я его пальцем не тронул.

— Ты не позволил оказать ему медицинскую помощь. Я в рапорте так и напишу, а там уж пусть с тобой опер разбирается.

Дневальный сплюнул с досады.

— Чёрт с тобой, забирай. Только бумажку мне напиши, а то с меня спросят.

— Будет тебе бумажка, — заверил фельдшер и стал осматриваться. — Это кто там у тебя в углу ошивается?

Дневальный ослабил.

— Там Зюзя со своими шестёрками. К ним лучше не соваться. Сам знаешь, поди.

Фельдшер кивнул.

— Знаю. Ты вот что, поди скажи Зюзе, чтобы пару человек мне прислал. Этого доходягу нужно отнести в больничку. Или ты сам понесёшь?

— Я-то скажу Зюзе, — нехотя молвил дневальный. — Только смотри, он меня пошлёт куда подальше. С него станется.

— Не пошлёт. Скажи, что я попросил. Потом рассчитаемся.

Дневальный помедлил секунду, потом направился в дальний угол.

Пётр Поликарпович не слышал этого диалога. Не чувствовал, как его подхватили за руки и за ноги, положили на носилки, а потом несли, раскачивая, по зоне. Втащили в процедурную и перетащили на деревянный стол, накрытый клеёнкой.

— Всё, начальник, мы пошли.

Двое заключённых с серыми, словно бы стёртыми лицами, развязной походкой почапали из процедурной. Фельдшер подождал, пока они уберутся, глянул в окно и задернул занавеску. За два года своей практики он много видел выбитых зубов, сломанных костей, вытекших глаз, вспоротых животов. Но всё никак не мог привыкнуть к этим бессмысленным избиениям ослабевших от голода, незащищённых людей. Поделаться он тут ничего не мог — ни предотвратить всю эту жестокость, ни вернуть искалеченным людям здоровье, вставить выбитые зубы. Из лекарств у него была одна лишь марганцовка, а всё лечение сводилось к простейшей антисептике и полному отдыху больного, во время которого организм восстанавливал себя сам. Или не восстанавливал. В таком случае больной отдавал душу Богу. Его переносили в холодный пристрой и бросали на земляной пол. Когда трупы уже некуда было складывать, их увозили на грузовике к ближайшей сопке, где сваливали в большую уродливую яму, а потом забрасывали камнями и снегом. В официальных бумагах указывали вполне приличную причину смерти каждому умершему: «Рак желудка», «Двусторонняя пневмония», «Инфаркт» или что-нибудь подобное. Истинную причину — дистрофию, пеллагру, обморожение или избиение с ломанием черепа и костей — указать было нельзя. Ведь если десятник в припадке бешенства прильёт железным прутом какого-нибудь доходягу — не подводить же этого десятника под расстрел (где ж столько десятников набрать)! И когда блатные, куражась, режут в бараках «контриков» и «террористов» — не расстреливать же их за все эти проказы! Десятники заботятся о выполнении плана по добыче золота (это нужно понимать и ценить), а урки помогают держать в узде всю эту ораву вредителей и смутьянов, мягколых интеллигентов-путанников, помогая тем самым администрации в её отчаянных усилиях по перевоспитанию всех этих отбросов. Все фельдшера, все лагерные «лепилы» — должны были участвовать в этом грандиозном сокрытии правды. А если бы кто-то воспротивился, то он разделил бы участь мертвецов — место в братской могиле ему бы нашлось.

Осознание соучастия в этом несправедном деле, чувство собственного бессилия и вины — сопровождало каждый шаг, любую мысль долгового фельдшера. За непроницаемым лицом скрывалась живая, отзывчивая душа, в которой шла беспрестанная борьба между инстинктом жизни и врождённой совестливостью. Пойти на смерть он не мог себя заставить. Да и что бы это изменило? Тут же его место займёт какое-нибудь мурло вовсе без

образования, без искры сострадания, без проблеска какой угодно мысли. Таких деятелей он уже видал – на «Партизане» и на «Аркагале». Доходяг они вовсе не лечили, а всё своё старание употребляли на ублажение воров – давали им больничный отдых, выписывали горячие уколы и усиленное питание. На прииске Водопьянова такое тоже происходило (вовсе без этого не обойтись). Но и обычные доходяги также имели шанс получить освобождение от работы, как этот вот старик... Фельдшер склонился над безвольно лежащим телом, прислушался к дыханию, потом выпрямился, покачал головой. С первого взгляда ему было ясно, что этот заключённый не переживёт зиму. Да и до зимы он вряд ли дотянет. И это счастье его, если он умрёт быстро, не будет мучиться ещё несколько месяцев. Понимая всё это, фельдшер развёл в стеклянной чашке щепоть марганцовки и стал отирать марлей кровь с разбитых губ пациента.

Так он и жил все эти годы в лагере – думал одно, а делал совсем другое. Поэтому и приняло лицо непроницаемое выражение. Лишь глаза иногда словно бы вспыхивали, выдавая внутреннюю борьбу.

Пётр Поликарпович очнулся глубокой ночью. Сперва ничего не мог понять. Мелькали обрывки воспоминаний – он видел огромную железную тачку с камнями и песком, гнулся и скрипел под ногами деревянный настил, тяжёлое кайло вонзалось в осыпающуюся стену, в спину задувал ледяной ветер, тяжёлый каменный свод каждую секунду грозил обрушиться – всё это мешалось в какую-то какофонию, казалось кошмаром. Было ли это всё в действительности? Или это бред воспалённого воображения, судороги испуганной души?

Пётр Поликарпович приподнял голову, стал осматриваться в темноте. Он находился в маленькой комнатке с низким потолком и двумя крошечными оконцами по одной стене. Рядом, на трёх кроватях, лежали под одеялами какие-то люди. Сам он занимал четвёртую кровать у стены. Несколько секунд он всматривался в неподвижные тела, потом опустил голову на подушку, закрыл глаза. Это усилие отняло у него слишком много сил. Было ощущение чего-то непоправимого. Случилось в его жизни что-то страшное, но что это было – он никак не мог припомнить. И он лежал в этой тёмной комнате с голыми стенами, в Богом забытом краю, не признавая себя, не помня ничего, без надежд, без сострадания, даже и без жалости к самому себе. Вся его прошлая жизнь, весь его опыт, таланты, преданность, усердие и мечты – ничего не значили. Всё это осталось в прошлом, возврата к которому не было, как бы всё это происходило в другую эпоху, в другой вселенной, с другим человеком. Тот человек был ненастоящий Пётр Поликарпович, все его заслуги были фальшивыми. Настоящий Пётр Поликарпович – вот он, здесь! — жалкий, раздавленный жизнью человек, не способный к сопротивлению, не стоящий даже той постели, на которой лежит. В голове его билось назойливо: «Тварь дрожащая... тварь дрожащая... тварь дрожащая...». Он и был этой дрожащей тварью. А прав не имел никаких. Вот и решение всех на свете проблем! Всё очень просто. И чем проще – тем оно



лучше. Грубая сила и принуждение – вот главный аргумент и доказательство — факт, с которым не поспоришь. Не нужно мучиться и ломать голову, делать умозаключения, искать оправдания и смыслы. Необходимо покориться, исполнить то, что от тебя требуют, а потом спокойно умереть. А можно умереть сразу, высказав таким образом протест против действительности. Но для этого нужны силы. А сил как раз и не было – ни душевных, ни физических.

Думать об всём этом было слишком тяжело. Пётр Поликарпович вытянулся, откинул голову назад, поворачивал её влево и вправо, стискивал челюсти и глухо мычал, пытаясь отделаться от жутких мыслей. Голова болела всё сильнее, тьма давила со всех сторон, он порывался вскочить и броситься вон из этой комнаты; ему казалось, что он встаёт и выходит в коридор, идёт к выходу, потом глухой тамбур, распаивается дверь – и вот он уже на свободе. Кругом ночь, ярко светит луна, по краям дороги стоят чёрные деревья; он бежит, не касаясь земли, мимо этих деревьев, всё дальше от страшной комнаты, от удушливой тьмы. Как хорошо на просторе! Как бездонно ночное небо, и как ярко светит луна! Он дышит всей грудью и радуется этой свободе, этому восхитительному полёту в бесконечности сверкающих пространств. Ах, если б можно было раствориться в этих пространствах без остатка! Стать этим сиянием, слиться с беспредельностью, улететь к звёздам...

Пётр Поликарпович метался в бреду по растерзанной кровати, а губы шептали волшебные блоковские строчки – как панацею, как спасение от ненавистной действительности:

*И под божественной улыбкой  
Уничтожаясь на лету  
Ты полетишь как камень зыбкий  
В сияющую пустоту...*

В лагерной больничке Пётр Поликарпович пробыл целых три дня. Фельдшер удалил ему осколки раздробленных зубов и слегка подлечил разбитые в кровь дёсны. Челюсть оказалась цела, а сотрясение мозга тут не считалось серьёзной травмой. Мало ли кому дадут по морде, эка невидаль! Глаза на месте? Руки-ноги целы? Тогда марш в забой, нечего занимать койко-место! Фельдшер не должен был вообще забирать его больницу, тем более, держать на койке столько времени. Но бригадир особо не настаивал на возвращении в бригаду такого работника. Он бы предпочёл вовсе от него избавиться. Но к его огорчению, вечером третьего дня Пётр Поликарпович вернулся в барак, занял своё место на верхних нарах.

— Что, опять будешь филонить? — спросил бригадир, стоя возле вагонки и сумрачно глядя снизу на Петра Поликарповича.

— Я не филонил, — ответил тот. — Просто не мог подняться. Я очень устал, сил не было.

— Подняться он не мог, — усмехнулся бригадир. — Да тебя втроём поднимали, а ты упирался. За это и схлопотал.

Пётр Поликарпович посмотрел ему в лицо.

— Это вы мне зубы выбили. Зачем это? Я ведь не фашист какой-нибудь. Я в партизанах был, с Колчаком воевал. Я тебе в отцы гожусь, а ты руку на меня поднял.

Бригадир молча выслушал эту тираду. Подумал несколько секунд и ответил:

— С кем ты там воевал — это меня не интересует. Здесь ты должен работать, как все. Я не хочу из-за тебя идти в штрафной лагерь. Так что имей в виду: или ты выполняешь норму или отправим тебя на Луну. А бить я тебя больше не буду, не боись. Руки не хочу пачкать. Будешь филонить — карцера отведаешь. Имей в виду.

Пётр Поликарпович лёг на спину, устремив в потолок невидящий взгляд. За три дня он отоспался, немного пришёл в себя. Хотя кормили в больнице очень скудно, но, как выяснилось, и этой малости было достаточно, лишь бы тебя не заставляли работать. Этой передышки ему хватило, чтобы ясно понять одну вещь: в этом лагере он погибнет, и случится это очень быстро. Ничего, кроме забоя и тачки, ему тут не светит. Махать кайлом по двенадцать часов в день, без выходных и перекуров, на мизерном пайке — это была верная смерть. Хотя, он мог и не мучиться. Можно было улучшить минуту и броситься на конвой. Его пристрелят, и дело с концом. Этот выход он держал в голове на самый крайний случай. Сама по себе возможность такого исхода придавала ему уверенности, и он уже не чувствовал отчаяния. Однако, были и другие варианты. Только он их пока не видит. Но он обязательно должен что-то придумать, пока голова не затуманилась от работы, пока ещё есть силы.

Весь вечер Пётр Поликарпович искал пути для спасения. Первая мысль была о побеге. Но, хорошенько поразмыслив, он вынужден был отказаться от этой заманчивой идеи. Побег означал ту же смерть, только отложенную на несколько дней. Его через неделю поймут и избыют до полусмерти (а могут и пристрелить на месте, а в лагерь принесут отрубленные кисти рук для опознания по отпечаткам пальцев, он уже знал, что так поступают с беглецами), или он замёрзнет где-нибудь в сопках — без огня, без тёплой одежды, без пищи, без компаса. Единственный шанс на спасение — это больница. Только не лагерная, а главная больница Колымы. Фельдшер слово в слово повторил то, что он уже слышал в магаданской транзитке: ему нужно попасть в центральную больницу под Магаданом. Это был единственный шанс вернуться на материк — через врачебную комиссию и инвалидность. Но фельдшер предупредил, что получить инвалидность будет очень непросто. Всех саморубов и членовредителей безжалостно судили и мотали им новый срок, и всё равно оставляли тут же, на Колыме. Одноногих возвращали на прииски, ставили туда, где не нужно было ходить — на промысловый прибор или на бутару; а однорукие, целый день, в лютый мороз, топтали снег на целине, что было немногим легче золотого забоя. На

материк отправляли лишь тех, кто сам нуждался в уходе: калек без обеих рук или ног, полностью слепых, сошедших с ума, припадочных и тому подобный, ни на что уже не годный человеческий материал. Попастъ в этот разряд Петру Поликарповичу было затруднительно, да и не очень-то хотелось. И всё же, надежда на инвалидность у него оставалась. Фельдшер обещал сделать ему направление в центральную больницу, если только он действительно заболеет чем-нибудь серьёзным. Назвал при этом несколько болезней, из которых Пётр Поликарпович запомнил только пневмонию и дизентерию. И ещё фельдшер сказал, что никаких анализов он тут сделать не может, а диагноз всегда ставит «на глаз». И если в центральной больнице его диагноз не подтвердится, то Петра Поликарповича сочтут за симулянта, а фельдшера могут наказать за потворство.

Одним словом, всё было очень и очень непросто. И всё же, это был шанс – единственный его шанс на спасение. Ничего другого придумать было нельзя. И оставаться на прииске тоже было нельзя. Это он понимал твёрдо, и решил уйти из этого лагеря во что бы то ни стало. С этой мыслью он уснул.

А утром начался ад. Температура на улице резко упала, ветер пронизывал насквозь. Заключённые надевали на себя всё своё тряпье, заматывали шею и голову. В ход шли вафельные полотенца, какие-то немыслимые папахи, куски брезента и любая ветошь. Пётр Поликарпович надел казённую шапку-ушанку и телогрейку. Намотал потуже портянки и затянул верёвочки на ботинках. В таком виде вышел из барака и едва не задохнулся – так холоден был воздух, и так задувало в рот и глотку. Он отвернулся от ветра, прижал руки к лицу, стараясь отдышаться. Казалось невозможным пробыть на таком морозе целый день. Но вернуться в барак было уже нельзя.

Прозвучала команда на построение, и заключённые стали строиться в колонну по пятеро. Пошёл в общий строй и Пётр Поликарпович, встал в середину, безуспешно стараясь укрыться от ветра.

Колонну повели в столовую. Там удалось немного отогреться. Горячее варево согрело желудок. Пётр Поликарпович глотал жижу через борт, чувствуя, как горячая пища идёт по пищеводу и словно бы уходит в ноги. По телу пробегает дрожь наслаждения, и кажется: не уходил бы никуда из этой столовой! Пусть кругом толкаются и шумят. Главное – не выходить на мороз, не идти в ледяной забой!

Но выйти всё же пришлось. Бригадир полоснул его взглядом, смачно выругался, и Пётр Поликарпович послушно пошёл на улицу. Там их снова построили и повели на плац. Опять стояли на пронизывающем ветру, ждали, когда закончится переключка. Потом вся колонна двинулась к лагерным воротам. Там снова были замешательство и ругань. Затем они торопливо спускались под гору; конвой подгонял и матерился, вымещая злобу на доходягах. Втянув голову в плечи, Пётр Поликарпович почти бежал в общей толпе.

Затем была адская работа. Час, другой, и третий — Пётр Поликарпович накидывал тачки песком пополам с камнями. Его уже не заставляли катать

стокилограммовые тачки вверх по прыгающим доскам. Но и стоять на месте тоже было нельзя. Все гнали и гнали работу, так что Пётр Поликарпович сначала согрелся, потом его прошибла испарина, потом испарина высохла и какое-то время было тепло, а потом снова по спине потёк ледяной пот, и стало неуютно и зябко от мокрого испода; ещё через какое-то время он вновь почувствовал тепло в руках и ногах, — но к этому моменту он уже стал задыхаться. Руки отяжелели, поднять лопату с песком он уже не мог. Тогда он стал захватывать неполный совок. Но тут же к нему подступил заключённый с замотанным грязной тряпкой лицом. Кто это был, Пётр Поликарпович так и не понял.

Заключённый произнёс угрожающе:

— Ты чего сачкуешь? Думаешь, я не вижу?

Пётр Поликарпович опустил лопату, с трудом произнёс, задыхаясь:

— Я не могу, руки не держат, пальцы разгибаются.

— А я что, за тебя тут должен вкалывать?

Он подождал, что скажет Пётр Поликарпович, но тот молчал.

— Смотри, ещё раз увижу... — и он потряс лопатой над головой, держа её как древко знамени. — Я с тобой цацкаться не буду, махом череп раскрою!

После таких прямых и ясных угроз ничего не оставалось, как удвоить усилия. Пётр Поликарпович стал реже махать лопатой, давая себе секундный отдых, зато лопату набирал полную. Напарник всё это видел, но помалкивал. Он понимал, что этот старик работает из последних сил, и грозился лишь по привычке, а ещё — чтобы выпустить наружу душившую его злобу. Он злился на весь белый свет, потому что и ему было холодно и невероятно трудно, он тоже работал из последних сил и в любой момент мог загреметь в ледяной карцер. Он грозился ещё и потому, что ему самому грозили много раз — бригадиры и конвоиры, начкары идесятники, лагерные повара и парикмахеры, блатные и свои же товарищи — «политические», с которыми он делил нары. Такая тут была атмосфера, такие устои. А если бы всё было иначе, так вся эта система давно бы уже развалилась к чёртовой матери. Работали все из страха. Выполняли план, чтоб не подохнуть. Деньги, женщины, комфорт — все эти понятия были давно забыты, утрачены навеки. Остался лишь голый инстинкт жизни — на него и делали ставку устроители всей этой благодати.

Этот день длился бесконечно долго. Пётр Поликарпович кое-как дотянул до обеда. Потом, чуток подкрепившись и передохнув, некоторое время работал довольно споро. А затем снова стал набирать неполную лопату и урывать себе секунды отдыха. То же самое было на другой день. И на третий. И на четвёртый тоже. А на пятый, когда он шёл, пошатываясь в утренней колонне, его дёрнули за рукав. Он оглянулся, с трудом узнал бригадира.

— Вот что, — сказал тот, выдыхая белый пар изо рта, — дам тебе кант. Сегодня поработаешь траповщиком. Знаешь, что это такое?

Пётр Поликарпович на всякий случай кивнул. Понял только одно: махать лопатой сегодня не придётся.

— Подойдёшь к мастеру, он тебе всё объяснит. Я его предупредил. — Бригадир растворился в толпе. Пётр Поликарпович проводил его взглядом, словно не веря себе, и всё это ему померещилось.

Но всё было взаправду. Когда они пришли в разрез, ему выдали топор и кулёк с гвоздями — «шестёркой». Нужно было ремонтировать центральный трап, по которому беспрерывно катили гружёные тачки, — менять сломанные доски на целые, расшивать трап там, где узко или слишком круто. Но кроме центрального трапа было множество «усиков» — те же доски, только ведущие от центрального трапа к каждому забою. Там доски были заметно жиже и плоше, но там-то и требовался догляд.

Пётр Поликарпович принялся за дело: целый день мотался из конца в конец разреза, таскал доски, присаживался и вколачивал гвозди в плотный листвяк. Руки плохо гнулись, пальцы потеряли чувствительность, глаза слезились от ветра, но выручала его деревенская закалка. Топор он умел держать в руках. У себя в деревне помогал отцу строить и баню, и дом, и сеновал. Уменье это теперь очень пригодилось. От этого уменья теперь зависела его жизнь.

И бригадир, и вольный мастер, и заключённые — все видели, что дело спорится у Петра Поликарповича. Его бы и оставить на этой работе. Но тут была своя очередь. Каждый бригадник ждал этой передышки — хотя б денёк отдохнуть от кайла и тачки. Поэтому, на другой день Петра Поликарповича снова послали махать лопатой в забой. Перечить он не смел, да это было и бесполезно. Он видел, как бригадир безнаказанно избивает заключённых, и как они заискивают перед ним, трепещут взгляда его застывших глаз. Трусом Пётр Поликарпович никогда не был. И лебезить тоже не привык. А потому он молча выслушал распоряжение бригадира и на другой день отправился в ледяной забой.

Сил хватило на две недели. Была уже середина октября, стояли тридцатиградусные морозы. Пётр Поликарпович застудил грудь, так что внутри всё болело и сжималось — даже при обычной ходьбе по морозу. А уж когда начиналась работа и он брался за лопату, всё тело словно бы пронзало длинной иглой, в груди что-то натягивалось, и он до крови кусал губы, стараясь заглушить эту боль. На какое-то время это удавалось, боль отступала, но не пропадала вовсе, а как бы пряталась где-то в глубине. Он кое-как доживал до обеда, а после уже не мог стоять на ногах, не в силах был оторвать от земли лопату с песком. Однажды пришёл бригадир и молча смотрел на его потуги. Потом перевёл взгляд на самого Петра Поликарповича и сверлил взглядом, словно стараясь выискать причину такой странности. Лицо его было похоже на маску — неподвижное и суровое, ни одной мысли не было заметно в глазах. Наконец он разомкнул плотно сжатые губы и изрёк:

— Хана, доработался. Пять суток карцера у меня получишь. Пошёл вон отсюда!

Пётр Поликарпович бросил лопату. Едва волоча ноги, поплёлся из забоя. Бригадир двинулся следом. Они подошли к конвоиру, и бригадир что-то

сказал ему, показывая на Пётра Поликарповича. Конвоир снял винтовку с плеча и велел ему идти в лагерь. Пётр Поликарпович почувствовал величайшее облегчение, почти счастье. Ему всё равно было, куда его ведут – хоть бы и на расстрел. Главное, он не будет больше работать. По крайней мере, сегодня. Всё остальное было неважно. Он чувствовал, что ещё немного, и он умер бы от непосильного напряжения. Пусть всё что угодно, только не тачка, не лопата! И он шёл, чувствуя нарастающую радость, оставляя за спиной огромную уродливую яму, в которой копошились и теряли остатки здоровья его несчастные товарищи.

Штрафной изолятор стоял на отшибе и выглядел совсем по-деревенски – это был бревенчатый дом, длинный и словно бы жмующийся к земле. Над входной дверью — покатым навесом о двух столбиках. Затянутое мешковиной и забитое досками квадратное окно, плоская крыша с торчащей в небо железной трубой, заметённые снегом стены и свободно гуляющий по чёрным брёвнам ветер. Сразу за домом была граница лагерной зоны – похожие на виселицы рогатины с изломанной колючей проволокой; поодаль маячила вышка охраны. Петра Поликарповича завели внутрь дома, провели тёмным коридором несколько шагов и втолкнули в совершенно пустую комнату без единого окна. Дверь закрылась, Пётр Поликарпович остался один.

В первую минуту он даже обрадовался этому внезапному одиночеству. Было, правда, довольно холодно. Сразу он не ощутил ледяного дыхания земли, но уже через несколько минут его охватила дрожь. Пётр Поликарпович опустился на корточки и приложил ладонь к земле; та была холодна как лёд – сруб стоял на вечной мерзлоте, прямо на грунте. Он поднялся и стал шагать от стены к стене, четыре шажка туда, и столько же обратно. А можно было ходить кругами вдоль стен: шестнадцать шагов в одну сторону, и столько же – обратно. Так шагая – то вдоль стен, то по диагонали — он коротал время и прогонял холод. Иногда он останавливался и стоял, привалившись к бревенчатой стене, закрыв глаза и вдыхая холодный воздух. Голова кружилась, тело наливалось тяжестью, хотелось упасть и не двигаться. Но он понимал, что чем дольше продержится на ногах, тем больше у него шансов выйти отсюда живым. На первый раз ему дали трое суток «без вывода». Считалось, что «без вывода» — это намного тяжелее, чем «с выводом» (на работу, то есть). Но Пётр Поликарпович обрадовался такому наказанию. Вот если бы он всю ночь пробыл в ледяном карцере, а утром его бы погнали в забой махать лопатой и катать тачку – тогда бы он точно не сдюжил. А так ещё можно было перетерпеть. Главное, не останавливаться. И он всё ходил и ходил по этой клетке, временами впадая в беспамятство и двигаясь как сомнабула. Он даже успевал увидеть мимолётный сон за те несколько секунд, пока брёл вдоль стены, потом следовал удар, он приходил в себя, поворачивал и двигался до следующей стенки; через какое-то время следовал новый удар, и всё повторялось. Сколько всё это продолжалось, он бы не смог сказать. Только почувствовал по какой-то особенной тишине, что уже наступила ночь, всё замерло кругом. Стало заметно холоднее. Ночь всё длилась и длилась, казалось, ей не будет

конца. А потом дверь вдруг распахнулась. Пётр Поликарпович сделал несколько шагов по инерции и остановился.

На пороге стоял надзиратель.

— На вот, пайку тебе принёс, — объявил он. — Присмотрелся и спросил уже другим голосом: — Не задубел?

Пётр Поликарпович всё глядел на него, словно не понимая.

— Ну бери же! — надзиратель протягивал горбушку хлеба. — Пожуй хлебушка, а то дуба тут нарежешь.

Пётр Поликарпович взял пайку, поднёс ко рту и с трудом откусил, стал медленно жевать чёрный мёрзлый хлеб, не чувствуя вкуса, роняя на землю крупные крошки. Надзиратель всё смотрел на него, словно хотел что-то сказать, потом махнул рукой и захлопнул дверь. Слышно было, как он протопал по коридору и вышел на улицу.

Пётр Поликарпович снова стал ходить вдоль стен. Теперь это происходило помимо воли, ноги сами несли его вперёд, а он не сопротивлялся, рассудив, что тело само знает, что ему надо.

Тело и в самом деле знало: останавливаться было нельзя, остановка означала смерть.

Но силы человеческие не беспредельны. Природу нельзя обмануть.

К исходу третьих суток в комнату зашёл всё тот же надзиратель. Пётр Поликарпович неподвижно сидел в углу, обхватив руками колени и укутав лицо в своё тряпье. Он не шевелился, и было впечатление, что он закован и уже не встанет.

Надзиратель приблизился и, склонившись, толкнул склонённую голову.

— Эй, поднимайся. Кончилась твоя ссылка. Вставай! Пошли давай! Слышишь меня?

Пётр Поликарпович слабо шевельнулся и остался сидеть неподвижно. Подняться с земли он уже не мог. Он даже не мог понять, чего от него хотят.

Надзиратель особо и не удивился, всё это было ему хорошо знакомо. Из этой чёртовой избушки редко кто выходил на своих ногах. И он принял обычные в таких случаях меры.

Через полчаса Петра Поликарповича под руки заволокли в барак и бросили на пол.

— Забирайте своё дерьмо, — сказал один из конвоиров, отряхивая руки.

К Петру Поликарповичу подошли заключённые. Стали рассматривать.

— Вот тебе, бабушка, и юрьев день! — сказал кто-то. — Эк они его отделили.

Но через несколько минут выяснилось, что никто Петра Поликарповича не бил, а просто он ослабел от голода и от бессонницы. С трудом воспринимал окружающее, не понимал, что с ним происходит и где он находится. Все так и решили, что он не жилец на этом свете. И сразу потеряли к нему всякий интерес. Смерть тут никого не удивляла и уж конечно, не пугала. Это уже стало для всех обыденным явлением — как смена дня и ночи.

Петра Поликарповича в четыре руки закинули на верхние нары и оставили так до утра.

А утром его опять избили. На этот раз избиение было особо жестоким и бессмысленным. Все видели, что этот человек не может двигаться, что он не осознаёт своих действий. Бить его – это всё равно, что добивать издыхающую лошадь, или добивать смертельно раненного человека. Однако, бригадир и дневальный с азартом пинали безвольное тело, вымещая на нём свою злобу и всё то чёрное и страшное, что таилось до срока в самой глубине их чёрных душ.

Наконец, кто-то крикнул:

— Эй, хватит. Вы его убьёте!

— Таких и надо убивать! — отозвался дневальный. Пнул ещё раз и остановился. — У-у, вражина. Ажна взмок.

Бригадир тоже словно бы одумался.

— Ладно, хватит с него. Я ему ещё вечером добавлю. Будет у меня знать, как филонить.

Вся бригада отправилась на работу, а Пётр Поликарпович остался лежать на заплёванном полу. Так он второй раз уклонился от общественно-полезного труда, призванного сделать из него образцового советского человека. И даже умудрился повторно попасть в медпункт к уже знакомому фельдшеру. Тот ахнул, увидев недавнего пациента. Покачал головой и велел санитару снять с больного окровавленные лохмотья и нагреть таз воды. Многие он повидал в лагерях, но даже его удивила столь быстрая деградация ещё не старого человека (Петру Поликарповичу было о ту пору сорок восемь лет). Всего лишь две недели назад он видел его если и не здоровым, то и не доходягой. Теперь же пред ним было что-то бесформенное, безвольное и ни на что уже не годное. Работать в забое он уже не сможет – это было ясно. Но другой работы для него здесь не было. Оставалось лишь одно: отправить его в центральную больницу на врачебную комиссию. А иначе – смерть, и смерть весьма скорая. Федьдшер понимал, что этот заключённый уже не жилец на этом свете. В штрафном изоляторе он застудил себе лёгкие и, судя по всему, у него началась двусторонняя пневмония. К тому же, у него распухли все суставы на руках и ногах, и даже на пальцах. Сжать кисть в кулак никак не удавалось, а это верный признак острого ревматизма. Артериальное давление больного зашкаливало за двести, а сердце билось с явными перебоями. По всем статьям это был безнадежно больной человек, вымотанный до последней крайности, к тому же ещё и жестоко избитый. Даже при полноценном лечении и усиленном питании потребовалось бы несколько месяцев, чтобы поставить его на ноги, вернуть утраченные силы.

Но все эти недуги – ревматизм, пневмонию (неподтверждённую), сердечную недостаточность (тоже взятую на глазок) – он не мог указывать в своём ходатайстве об отправке заключённого в центральную колымскую больницу. Вот если бы ему оторвало руку или ногу на производстве, тогда другое дело – это сразу всем видно. А так – весьма сомнительно. И всё же, он решил рискнуть, рассудив, что в главной больнице работают опытные врачи,



среди которых светила медицины, европейские профессора, известные медики, по учебникам которых учились студенты медицинских институтов. Они и сами должны понять истинную причину отправки с прииска этого больного.

И он твёрдой рукой написал врачебное заключение, поставив в графе диагноз — «shigellos», а в скобках дописав (дизентерия). В «анамнезе» он отметил всё то, что и было в действительности — изношенное сердце, ревматизм, гипертонию и сломанные рёбра. Он мог бы приписать сюда ещё дистрофию, пеллагру, цингу, диарею и деменцию. Но не стал этого делать: всё это и так очевидно. И, главное, ни цинга, ни пеллагра, ни мультифокальная деменция не могли служить причиной для получения инвалидности, поскольку этими недугами страдали девяносто процентов всех заключённых советской Колымы. Возвращать их на материк никто не собирался, потому что там они напрочь испортили бы картину передового социалистического строительства. (Да и кто тогда будет добывать так нужное стране золото?..) Советская власть не могла допустить публичного позора. Деяния рук своих она надёжно прятала (преимущественно — в землю).

В долине реки Хатыннах уже трещали пятидесятиградусные морозы. Знаменитый полюс холода — Оймякон — располагался в той же климатической зоне, на той же широте, что и прииск имени Водопьянова. До него было даже ближе, чем до Магадана. Знаменитые северные новеллы Джека Лондона, в которых небо блестело «как отполированная медь», а малейший шепот казался «святотатством» — описывают ту же природу, что и мир Колымы. То же «белое безмолвие», те же «зловещие деревья» и тот же «дух скорби», витающий над всем этим краем. Но знаменитому писателю и первому председателю студенческого социалистического общества в Америке даже в жутком сне не могло привидеться то социалистическое будущее, которое наступит через сорок лет после написания его замечательных новелл, — когда сотни тысяч людей будут брошены в эти ледяные пустыни, и все они под страхом смерти станут долбить мёрзлую землю в пятидесятиградусный мороз, получая за это килограмм хлеба, миску баланды и ежедневные проклятия и тумаки от озлобленных охранников и потерявших человеческий облик уголовников. Ничего такого не было и не могло быть в его мужественных рассказах. Придумать такое мог лишь какой-нибудь средневековый мистик вроде Данте Алигьери (да и то сомнительно, ведь в Аду тоже была какая-то справедливость, совсем уже невинных людей туда не принимали и зазря никого не мучили!). Но советская действительность затмевала самые мрачные прогнозы и превосходила самую жуткую фантазию. В этом ей не было равных.

Пётр Поликарпович Петров должен был умереть в этой северной глуши, остаться навеки в ледяных песках с ничтожной примесью золота, сделаться частью этой каменистой почвы, удобрить её своим телом. Смерть уже тянула к нему свои костлявые руки, предвкушая очередную поживу. Но судьбе угодно было отсрочить это событие. Пётр Поликарпович не умер в эту зиму

1940 года, как умерли сотни тысяч других заключённых – на этом и других приисках Колымы. Это была неслыханная удача, каприз судьбы, благосклонный взгляд Фортуны, случайно брошенный на уже умирающего человека.

Ранним морозным утром из лагерных ворот выехал грузовик, кузов которого был затянут обындевевшим брезентом. В кузове, среди сломанных лопат и прочего дрязга, прямо на занозистых досках лежал, притиснутый к борту, человек. Этим человеком был Петров Пётр Поликарпович. Перед отправкой его одели в изорванный, в нескольких местах прожжённый бушлат третьего срока носки, завернули в тряпье, какое попало под руки, на ноги натянули измочаленные валенки, а на голову нахлобучили шапку-ушанку. Начальник лагеря сперва никак не соглашался отправить заключённого в центральную Магаданскую больницу. А когда понял, что сделать ничего не может, распорядился везти его в открытом кузове – все пятьсот километров. Приказание его было исполнено в точности. Фельдшер был рад и этому: это было всё же лучше, чем оставлять умирающего заключённого на прииске. К тому же, пузатый начальник никогда не ездил по колымским просторам в кузове грузовика. Он не знал, что когда машину сильно трясёт (а на колымской трассе её трясёт всегда), — то едущему в кузове пассажиру никакой мороз не страшен. Удары и толчки согревают тело лучше всякой грелки, не дают ему застыть и превратиться в лёд. Это наблюдение подтверждено множеством свидетельств, тысячью рассказов! Убедился в этой истине и Пётр Поликарпович; он проехал в кузове полуторатонки от Хатыннаха почти до самого Магадана. А это пятьсот пятьдесят километров постоянно петляющей трассы. Двое суток в пути со множеством остановок – в Ягодном, Дебине, на Спорном, в Оротукане, на Стрелке, на Атке и в Палатке. Если бы не тряска и не ухабы, то в центральную колымскую больницу привезли бы закоченевший труп. Составили бы акт, прокололи грудь штыком, прикрепили к большому пальцу правой ноги бирку и бросили в мёрзлую яму к другим доходягам и фитилям. Одним больше, одним меньше – какая, собственно, разница?.. Но Пётр Поликарпович не замёрз. Когда грузовик спустился со знаменитого Яблонового перевала, сразу же потеплело, а в Палатке было уже совсем хорошо — каких-нибудь минус десять. С мутного неба сеялись белые пушинки, и вся местность была укутана толстым снежным одеялом.

Упрямый фельдшер добился своего – его подопечный попал в благословенную больницу, где были настоящие доктора и хорошо обученный персонал, где делали любые операции и ставили на ноги мертвецов. В эту больницу мечтали попасть даже вольные, они усиленно хлопотали об открытии для них двух палат при хирургическом отделении (и в конце концов добились своего).

Знаменитая на всю Колыму «инвалидка» располагалась в приболоченной безлесной низине в шести километрах от центральной колымской трассы и в двадцати километрах от той самой магаданской транзитки, которую Пётр Поликарпович покинул каких-нибудь два месяца назад. Главный больничный

корпус располагался в огромном четырёхэтажном здании на тысячу коек. Здание не отличалось архитектурными изысками – это был громадный параллелепипед грязно-серого цвета с геометрически ровными рядами зарешеченных окон по всем четырём этажам. В пятидесяти метрах, параллельно ему, расположилось ещё одно каменное здание — о двух этажах и в два раза короче; за ним – третье, ещё ниже, а далее были разбросаны там и сям строения самого разного калибра и пошиба. Это был самый настоящий посёлок со своей котельной, хлебопекарней, с подсобными производствами и жильём для бойцов охраны и для вольных. В то же время, это был самый настоящий лагерь, огороженный колючей проволокой и обставленный вышками с часовыми. На территории больницы действовали точно такие законы, как и во всех лагерях УСВИТЛа. Медперсонал больницы состоял, в основном, из заключённых, обученных в этой же больнице на ускоренных фельдшерских курсах, на которые мечтали попасть все зэки Колымы, от последнего доходяги и до мордатого повара или каптёра, ибо никакая другая должность не давала заключённому столько привилегий и власти. Но матёрых уголовников и блатарей в медицину не брали по причине их дремучего невежества и полной непригодности к лечебному делу (да и к любому другому делу тоже). Фельдшерами становились, как правило, люди образованные и сострадательные, тут действовал тот же закон, что и во всём остальном мире, когда всё наносное и случайное безжалостно вымывается и выдувается мощными потоками Жизни, а всё ценное и единственно верное – остаётся и становится частью общего организма, обеспечивая порядок и требуемый результат. Командовали больницей чины из НКВД. Главный врач хотя и был из вольных, но состоял на военной службе и получал двойную зарплату за свои труды. Во всём остальном это была обычная больница, где лечились всё те же болезни, что и везде, использовались общепринятые методы излечения недугов. Человек везде одинаков. На всех материках и во все эпохи – у него одна и та же красная кровь со множеством эритроцитов, те же самые кости и одинаковый набор мышц и нервных волокон. Он одинаково чувствует боль и противится смерти, даже когда смерть для него — благо.

Процедура приёма больных в центральной колымской больнице была весьма своеобразной. Первичный осмотр всех поступающих больных проводил заведующий приёмным покоем – фельдшер из числа заключённых. Фельдшер этот был мрачен, высок и чрезвычайно худ. Потемневшая кожа туго обтягивала череп, а ввалившиеся щёки свидетельствовали о полном отсутствии коренных зубов. Взгляд его был чрезвычайно мрачный, тяжёлый и пронзительный. Этим взглядом он смотрел на пациента, а правильное сказать – сквозь него, — и что-то про себя решал. Главный вопрос был всегда один: заслуживает ли больной госпитализации. Попадёт ли он на больничную койку, получит ли спасительный отдых от убийственного труда, от мучительных морозов, от ежедневных избиений. Хотя, конечно, были среди привезённых в больницу и симулянты, были и бытовики с липовыми диагнозами, полученными от насмерть запуганных лагерных лепил, — но

всех их ждало разочарование. Долговязый фельдшер со злым лицом сразу видел фальшь и – твёрдо отказывал всей этой шатии-братии. Но все те, кто нуждался во врачебной помощи – получали её. Обострённая интуиция бывшего доходяги, многолетнего обитателя золотых забоев и профессионала по части тачки и кайла, непосредственное знание самого дна жизни и её обитателей – помогали ему безошибочно отличать истинно страдающих от симулянтов и паразитов всех мастей.

Когда в приёмный покой втащили Петра Поликарповича, фельдшер всё понял с одного взгляда. Заплывшее потемневшее лицо со следами обморожений, отсутствующий взгляд, заторможенность и полное рассогласование всех физиологических отправлений – всё это он видел бессчётное число раз – и в своей прошлой жизни обычного зэка, и в теперешней, когда он обманул смерть и сам стал вершителем судеб.

— Откуда? — задал он единственный вопрос сопровождающему.

— С Ягодного. Из Хатыннаха, — был ответ.

Фельдшер согласно кивнул.

— Понятно. — И, обернувшись к своему помощнику, коротко распорядился: — Оформляй в терапию, в триста пятнадцатую. Там есть свободная койка.

Он произнёс это скупно, нисколько не изменившись в лице, не сделав лишнего движения, а перед глазами промелькнула целая череда видений. Хатыннах он знал слишком хорошо, был там на доследовании в тридцать восьмом, когда ему клепали второе дело, а потом возили в Магадан и там едва не расстреляли. Очень ему запомнился шестидесятиградусный мороз, прыгающие звёзды в чёрной бездне над головой, и как его везли под этими звёздами от «Партизана» до Хатыннаха, а потом по всей колымской трассе — в открытом кузове «полуторки» под продувающим насквозь ветром.

Такое не забывается. И уж конечно, не прощается.

Но вот перед ним человек, повторивший его смертный путь, так же как и он, чудом вырвавшийся из когтистых лап смерти. Мог ли он ему отказать? — Такой вопрос даже не стоял перед ним. Два года назад, стоя глубокой ночью в ледяном забое, он впервые в жизни плакал от бессилия, от нестерпимого холода, от страшного унижения, от смертного ужаса. Тогда он со всей остротой впервые ощутил то главное, что есть в этом мире, что движет миром и не даёт ему распасться на атомы. Сила эта – сострадание всему живому, глубокое сочувствие всему зримому и незримому, стремление помочь всему существу, сохранить его целостность и соразмерность, но не крушить, не уничтожать и не глумиться! Разрушение окружающего тебя мира – вот самый страшный грех, какой только есть на свете! Тогда, два года назад, он дал себе страшную клятву: если только он останется в живых – все силы без остатка он употребит на помощь другим людям. Потому что нет и не может быть другой цели в жизни человека. В этом оправдание его существования, в этом смысл и высшая награда.

Клятву эту он ни разу не нарушил. И теперь он решил сделать всё возможное для спасения Петра Поликарповича. Изучив его документы и

внимательно осмотрев обескровленное тело, он назначил ему усиленное питание, «горячие уколы» хлористого кальция, внутривенные вливания глюкозы, скипидарные растирания и полнейший покой. С Петра Поликарповича сняли завшивевшую одежду, самого его тщательно вымыли горячей водой с мылом, наново остригли волосы на голове, а потом уложили в кровать на чистую простыню, укрыв двумя стёгаными одеялами. Всё это можно было почесть за чудо, но Пётр Поликарпович не чувствовал радости. Он был в таком состоянии, когда окружающий мир отдаляется и становится нереальным, будто видишь его в сновидении. Вокруг что-то происходит, но тебя это не касается, тебе это глубоко безразлично. Даже если с тебя будут сдирать кожу – ты не воспротивишься, и уж конечно, не испугаешься. Про таких знающие люди говорят: «Этот уже не жилец». И это справедливо, потому что почти все таковые умирают. И Пётр Поликарпович должен был умереть на больничной койке, тихо отойти в мир иной. Это было бы для него наилучшим выходом, разрешением всех проблем, избавлением от мучений. Однако, вопреки логике и всем расчётам, Пётр Поликарпович не умер в ту зиму. Три недели он находился между жизнью и смертью. Каждое утро санитар ожидал увидеть окостеневшее тело и гримасу смерти на перекошенном лице. Вместо этого он видел шевеленье под одеялом, улавливал слабое дыхание и чувствовал тепло, когда трогал бритую голову. Пётр Поликарпович никак не соглашался умирать. Изношенное сердце продолжало биться – днём и ночью, вечером и утром – без остановки. Кровь упрямо бежала по венам, мёртвые клетки заменялись живыми, и силы – кажется, утраченные навсегда — постепенно возвращались. Это было подлинное чудо воскрешения. Ещё одна демонстрация великого инстинкта жизни, преодолевающего любые преграды, опровергающего всякую логику, сохраняющего гармонию среди всеобщего хаоса и разрушения.

На двадцать пятые сутки пребывания в больничной палате Пётр Поликарпович впервые осмысленно посмотрел вокруг себя. До этого он словно находился в полусне, слышал звуки как через вату, чувствовал смутное неудобство, видел непонятное мельтешение вокруг. И вдруг словно лопнула невидимая мембрана: звуки плотным потоком хлынули ему в голову, глаза широко раскрылись, и он ясно увидел окружающее, почувствовал своё тело, понял, что он всё ещё жив! Он лежал на кровати возле стены, окрашенной зелёной краской с наплывами. В ногах была белая дверь, а слева стояли ещё восемь кроватей – четыре ряда по две, и ещё одна кровать была сзади, за головой; там же были два окна, в которые лился с улицы мутно-серый свет. С грязно-белого потолка свисала лампочка на изогнутом проводе с беспорядочно торчащими волосками. Всё это Пётр Поликарпович разом увидел и всё это осознал. Он понял, что находится в больнице, что он жив и что ему ничто не угрожает. Осторожно поднял голову и посмотрел на своё тело, укрытое ворсистым одеялом неопределённого бурого цвета. Пошевелил ступнями, слегка согнул колени. Высвободил из-под одеяла одну руку, потом другую. Глубоко вздохнул и опустил голову на подушку, закрыл глаза. Было чувство оглушённости, будто его выбросило на

берег после кораблекрушения, и вот он лежит на тёплом песке, а в голове какие-то обрывки воспоминаний – что-то жуткое, тяжёлое и пугающее... Нет, лучше не вспоминать. Пётр Поликарпович снова открыл глаза и увидел раскрывающуюся дверь. В палату вошёл какой-то мужик в белом халате и в мятом колпаке. Он скользнул взглядом по Петру Поликарповичу, сделал два шага и вдруг остановился.

— О-о, привет семье! Жмурик наш очнулся! — и поглядел с торжествующей ухмылкой на Петра Поликарповича. И все больные обернулись и тоже посмотрели в его сторону. Лица их были угрюмы, никто особо не радовался. Да и было бы чему! Кого тут удивишь внезапными воскрешениями и смертями? Каждый из них видел десятки и сотни смертей — самых неожиданных и несуразных, а большей частью — тихих и незаметных; и каждый был углублён в свою собственную болезнь, в свою неповторимую судьбу. Каждый знал, что после этой больницы его ждёт лагерь со всеми его прелестями. Знание это тяжким грузом лежало на душе. День выписки неумолимо приближался, и душа заранее ныла, предчувствуя беду. В этой палате не было увечных, тут лежали больные пневмонией, аневризмой аорты, ревматизмом, гипертонией и чем угодно, но не инвалиды и не калеки, не кандидаты для отправки на материк. Таким же был и Пётр Поликарпович. Как только он очнулся от своей летаргии, так сразу же начался для него обратный отсчёт времени пребывания в этих стенах.

Санитар шагнул к нему, потрогал лоб, заглянул в глаза и удовлетворённо кивнул.

— Пойду скажу доктору, — объявил он и вышел из палаты.

Доктор явился через пять минут. Это был тот самый фельдшер, который три недели назад встретил его в приёмном покое. Внимательный оценивающий взгляд, секундная пауза, и фельдшер опустил на краешек кровати.

— Как вы себя чувствуете? — спросил бесцветным глухим голосом, всматриваясь в заросшее щетиной лицо.

Пётр Поликарпович изобразил улыбку на лице и слабо кивнул.

— Спасибо, хорошо, — прошелестел, почти не двигая губами.

— Грудь болит? — последовал новый вопрос.

— Не знаю, нет, как будто.

— Ну-ка... — Фельдшер откинул одеяло и стал сильно давить пальцами на рёбра. — Так больно? А так? А здесь?

Пётр Поликарпович морщился и кивал. Больно было везде. А фельдшер не унимался. Заставил перевернуться на живот и снова тыкал в рёбра и вдоль позвоночника. Потом слушал сердце стетоскопом, измерил давление и неторопливо записал показания в тетрадь. Пётр Поликарпович с беспокойством ждал, что он скажет.

— Теперь всё будет хорошо, — объявил фельдшер, закрывая тетрадь. — Вы поправитесь. Кризис преодолён.

Пётр Поликарпович без видимых эмоций воспринял эту информацию, подумал несколько секунд и спросил:

— А что со мной?

— У вас сильное истощение. Ослаблена сердечная мышца. Признаки аритмии. Ревматоидный артрит, авитоминоз, пеллагра в начальной стадии. Обычный набор.

Пётр Поликарпович облизал пересохшие губы.

— И я поправлюсь?

— Конечно. Теперь уже в этом нет сомнений.

— А потом... что? Обратно в лагерь?

Фельдшер некоторое время смотрел на него, потом отвёл взгляд.

— Этого я не знаю. Моя задача – поставить вас на ноги. Вас привезли сюда едва живого. Думали, не выкарабкаетесь. Но вы молодец, справились. Организм сильный. Ещё поживёте.

Фельдшер лукавил, а сказать точнее – щадил больного. Конечно, он знал, что сразу после выписки из больницы все заключённые этапируются обратно в лагерь. (Хотя и не в тот, откуда они прибыли; по существующим правилам заключённые после больницы или нового следствия никогда не возвращались на прежнее место). Но самим заключённым было от этого не легче. Новый лагерь был ничуть не лучше прежнего. Те же общие работы, тот же двенадцатичасовой рабочий день, то же кайло, та же пайка чёрного слипшегося хлеба и те же побои, когда бьют от души, нисколько не думая о последствиях. Всё это фельдшер отлично знал, но у него язык не повернулся так сразу сказать всё это человеку, только что вернувшемуся с того света. Чуть подумав, он добавил к сказанному:

— У нас в больнице работает врачебная аттестационная комиссия. Я не исключаю, что вы получите инвалидность. Это вполне возможно. Я нахожу у вас острую сердечную недостаточность. Если даже вас и не отправят на материк, то вам могут сделать ограничение на лёгкий физический труд. А это уже совсем другое дело. Вас уже не пошлют в забой наравне с другими.

— И меня не отправят обратно в лагерь?

Фельдшер хотел ответить, но глянул по сторонам и сдержался. Он уже досадовал, что дал втянуть себя в этот разговор, да ещё при свидетелях. Он решительно поднялся, одёрнул халат.

— Давайте не будем торопиться. Мы ещё поговорим об этом. — Обвёл строгим взглядом разом притихшую палату и вышел в коридор, застучал каблуками по деревянному полу.

С этого дня началось медленное возвращение Петра Поликарповича к жизни. Трижды в день он получал жидкую пищу – на завтрак, обед и ужин – какую-то размазную в алюминиевой миске, пайку хлеба и прозрачный, чуть тёплый чай. Порции были крошечные, но ему и этого хватало. Ведь он ничего не делал, лежал целый день на железной кровати, лишь изредка вставая и прохаживаясь по коридору.

Понемногу он познакомился с обитателями палаты. Все они были недоверчивы, в разговор вступали крайне неохотно. Больше молчали и слушали. Ближе всех Пётр Поликарпович сошёлся с соседом слева, койка которого стояла на расстоянии вытянутой руки. Полноватый,

большеголовый, с красным одутловатым лицом и внимательным взглядом больших коричневых глаз. Он долго не шёл на контакт, но постепенно недоверие растаяло, и они разговорились. Звали соседа Александром Ивановичем, он был родом из Минска, работал инженером-конструктором в проектно-изыскательском институте. В Минске у него остались жена и дочь. Когда Пётр Поликарпович сообщил, что у него тоже осталась на воле жена с малолетней дочерью, Александр Иванович дрогнул, по лицу его прошла судорога, и он уже другими глазами посмотрел на собеседника. Придвинулся ближе и спросил:

— За что вас взяли?

Пётр Поликарпович пожал плечами.

— Я и сам не знаю. — Заметил недоверчивый взгляд и прибавил. — Официально – за участие в террористической организации бывших партизан Восточной Сибири. Я ведь в партизанах был, воевал с Колчаком, входил в руководящие органы всесибирского совета, был депутатом крайкома. У нас там в девятнадцатом году целая война была, почти два года воевали, ведь территория-то какая! Всю Европу в наших лесах можно разместить, и ещё место останется. Драчка была отчаянная, никто никого не жалел, бились с белыми насмерть. Теперь об этом не хотят вспоминать, будто и не было никакой войны, а советская власть сама собой установилась по всей Сибири. И ладно бы просто забыли! В тридцать седьмом всех бывших руководителей партизанского движения разом арестовали. И почти всех расстреляли.

— А вы как уцелели?

— Я не подписал ни одного протокола, ни в чём не признался. Стоял на своём – не виновен, и точка. Да и в чём мне было признаваться? Я чист перед советской властью, даже и в мыслях не было ничего такого. Да и с какой стати мне с ней бороться, если я сам же её устанавливал, по лесам с винтовкой шастал, спал прямо на снегу и чудом не погиб. А эти все, которые теперь руководят, где они тогда были?.. — Он испытующе посмотрел на собеседника, но тот ничего не ответил. — Три года меня мурыжили на следствии, — продолжил Пётр Поликарпович. — Три следователя сменилось за это время. Начальника областного НКВД сняли, затем второго – обоих расстреляли. А я всё сидел, никак не могли решить, что со мною делать. Потом дали по ОСО восемь лет и отправили сюда.

Александр Иванович испустил вздох, лицо приняло глубокомысленное выражение. Он медленно кивнул, думая о своём:

— Не признались, значит. Понимаю. Только видите ли в чём дело, у нас в Минске в тридцать седьмом расстреливали всех подряд — и признавшихся, и ничего не подписавших. Я тогда сидел в минской внутренке на Комаровке. У нас там каждую ночь расстреливали – внизу, в подвале, — а трупы увозили утром на грузовиках. Помню, двадцать девятого октября взяли из камер сразу человек двести, и всех тогда же и кончили, никто назад не вернулся. И на этап никто из них не ушёл, мы бы знали. Я тоже готовился к смерти, но меня почему-то не тронули. Я многих знал из тех, кого забрали в ту ночь. Там писатели были, журналисты, учёные – Валера Моряков, Михась Зарецкий,



Миша Камыш, Алесь Дудар... Всех убили у ту ночь. Ведь до сих пор о них нет никаких известий! Ни от кого из них до сих пор ни письма, ни весточки. Уж я знаю. Да и все мы знали там, на Комаровке, что внизу по ночам расстреливают нашего брата. Такое ведь не скроешь. Надзиратели нас постоянно пугали расстрелом. Да мы и сами слышали, как стреляют, и крики тоже было слышать. В тюрьме ничего не скроешь.

Пётр Поликарпович молча выслушал этот рассказ.

— Да-а, — протянул он раздумчиво. — У нас в Иркутске то же самое было. И тоже всё шито-крыто. Постреляли людей, и концы в землю. А ведь ответить за это всё равно придётся. Как вы думаете?

Собеседник замер на секунду, потом слабо улыбнулся.

— Да, ответить придётся. Сколько верёвочке не виться, а конец будет. Только вот доживём ли мы с вами до этого конца, увидим ли, как всех этих гадов поведут на эшафот...

Последнее уже не было вопросом, а, скорее, констатацией факта. Дожить до того дня, когда «темницы рухнут, и свобода всех примет радостно у входа» — никто и не надеялся. На Колыме были свои масштабы, своя шкала мер и ценностей. Планировать свою жизнь на год вперёд? — Это и в голову никому не приходило. Дожить до будущей весны, до тепла — вот о чём грезили все заключённые — все, кроме ничтожного меньшинства, пригревшегося на тёплых местах вроде бань, каптёрок и складов. Остальные знали: жить им отмерено ровно столько, на сколько хватит их стремительно убывающих сил. В золотых забоях сил хватало ровно на три недели — это было точно установлено, многократно подтверждено множеством примеров. Через три недели работы на износ здоровый крепкий мужчина неизбежно превращался в доходягу — в полусумасшедшего, вконец обессиленного человека, грязного и вонючего, больше похожего на зверя, чем на образ божий. Оба они — Пётр Поликарпович и Александр Иванович — видели таких людей, и оба в любой момент могли примерить на себя эту роль. Оба понимали, что им несказанно повезло, что они находятся теперь в больнице, лежат в тёплой палате, а не среди мёрзлых камней у подоножия какой-нибудь сопки, слегка присыпанные песком и снегом, закиданные ветками стланика.

Разговор на этом прервался. Оба вдруг вспомнили, что будущего у них нет, потому как нет надежды вырваться из этого ада и вернуться к прежней жизни. Да и сохранилась ли она — прежняя жизнь? Стояли на месте города, откуда они прибыли, и в городах было то же, что и раньше — те же дома и улицы, и те же люди ходили по улицам на работу. В городах остались их семьи, их бывшие друзья и знакомые. Но если прямо сейчас вернуться домой, — как глядеть в глаза всем этим знакомым? О чём с ними говорить? Как поведать им о том ужасе, что испытали они во время следствия? Нужно ли им знать о том, что чувствует полураздетый человек, двенадцать часов кряду работающий на пятидесятиградусном морозе — так каждый день без выходных — месяцами? Что им даст это знание? Но главное даже и не в этом. Главное в том, что сами они — бывшие писатели, инженеры, военные, колхозники и рабочие — уже не верили ни во что, больше не считали себя ни

писателями и ни колхозниками, они были раздавлены морально, презирали самих себя. Даже если они и не виновны, даже если и не признались ни в чём, — но всё то, что с ними сделали, все унижения, допросы, побои, смертные этапы, весь этот хаос жизни — глубоко вошли в них, стали частью их естества. И они уже сами не знали, прежние ли они люди, или они и в самом деле твари, с которыми можно сделать всё, что угодно — растоптать, смешать с грязью, заставить поверить, что они ничтожества и достойны того позора, которому их предали. Да, с человеком можно сделать всё, что угодно — это они уже поняли. А поняв, не могли жить как прежде — радоваться пустякам, ругать за двойки детей, строить планы и смело глядеть в будущее. Впереди была непроглядная тьма, позади были позор и хаос. Так зачем им жить? К чему стремиться? Прошлое перечёркнуто и разрушено, а будущего для них не существовало. Смысл жизни был утрачен. Оставался один лишь инстинкт — тот самый инстинкт, который заставляет издыхающего червя ползти по раскалённой почве в поисках воды и прохлады.

Другим соседом Петра Поликарповича был невзрачный старичок — маленький, сухонький, с измождённым лицом и гноящимися глазами. К изумлению Петра Поликарповича, старичок оказался профессором какого-то московского института. Лицо его подёргивалось, глазки бегали, сам он был постоянно возбуждён и всё время чего-то боялся. Вздрагивал, когда резко открывалась дверь. Испуганно оглядывался на окно, когда в стекло ударяла снежная крупа. Со страхом глядел на любого, обратившегося к нему с вопросом. Точно так же он опасался Петра Поликарповича, пока не узнал его поближе. Природу его испуга Пётр Поликарпович так и не смог понять — профессор не сказал о себе ни слова. А на все расспросы лишь мрачнел и опускал голову, поросшую жиденькими, наполовину седыми волосами. Можно было догадаться, что в прошлом его было что-то тяжёлое, тёмное, такое, о чём не хочется вспоминать. Пётр Поликарпович и не спрашивал. В конце концов, какое ему дело до этого старичка?

Кровать у окна занимал совсем ещё молодой парень с наполовину отрубленной правой кистью. Он часто куда-то уходил, потом возвращался с куском хлеба или селёдочным хвостом, а то приносил недокурную папироску и долго с ней возился — сооружая из неё две других, поменьше. Всё это он проделывал левой рукой, вовсе не замечая своего увечья. Лицо его было сосредоточено, но без печати горести или несчастья. Пётр Поликарпович очень хотел с ним познакомиться, но всё как-то не удавалось. Узнал только, что парня звали Ваней, а руку ему отрубили блатные — топором — наискось — за какую-то провинность. (Следователи клеили ему членовредительство, но потом догадались, что самому себе отрубить правую кисть левой рукой — под таким неестественным углом никак не получится; и поверили, что не сам он это с собой содеял). Ну — отрубили и отрубили, и пёс с ним. Соседи этому нисколько не удивлялись. (Пётр Поликарпович видел одного старика, которому уголовники выкололи оба глаза (сделав ему «две ночи», по ихнему блатному наречию), другому отстрелили кисти обеих рук, привязав к ним капсюль-детонатор и запалив шнур; третьему перебили

позвоночник ломом, четвертому переломали все рёбра, прыгая на него двумя ногами с верхних нар... Много чего было в лагере такого, что и не снилось всем тем, кто спит в своих постелях и пьёт по утрам кофий с булочками. А в больницу Ваня попал из-за высокой температуры и заражения крови. Все в палате знали, что Ваня по ночам подмешивает кровь в баночку со своей мочей. Утром баночку уносили на анализ, а довольный Ваня снова куда-то уходил, приносил что-нибудь съестное, переполовинивал и уносил в другие палаты. Это было что-то вроде коммерции, когда из одной папироски получается две, а пайка хлеба выменивается на селёдку, которая затем выменивается на полный обед – и так далее, всё таким же макарон. Заниматься этим было намного интереснее, чем весь день махать кайлом под зорким взглядом конвоира. Да его и не пошлют теперь в забой с одной-то рукой. Найдут, быть может, что-нибудь другое – например, снег топтать под будущие разработки, или крутить огромный конный ворот, налегая на него грудью (и вытаскивая из глубокой шахты бадью с породой) – для этого руки и вовсе не нужны.

Однажды Ваня сам подошёл к Петру Поликарповичу.

— Сменяем горячие уколы на пайку, а? За каждый укол – тебе четверёхсотка и мне сто. Идёт?

Пётр Поликарпович не сразу понял, о чём речь. Но потом догадался и отрицательно помотал головой.

— А чего не хочешь? — удивился Ваня. — Ты уже поправился, тебе не надо. А там в, драматическом, — он ткнул пальцем в потолок, — там хороший человек умирает. Ему нужней. Давай, старик, соглашайся!

Но Пётр Поликарпович снова помотал головой. Такой обмен показался ему сомнительным. Если кто-то там и умирает, так врачи сами разберутся, что делать, назначат нужные лекарства. А его это дело вовсе не касается.

— Ну смотри, тебе жить, — со скрытой угрозой молвил Ваня, глядя сверху вниз.

Петру Поликарповичу потом растолковали, что продажа горячих уколов – вполне обычное дело. Уколы эти очень любили блатные, это напоминало им волю, когда они кололи себе морфий или нюхали кокаин, рассыпанный по бумажке. Глюконат кальция – это далеко не морфий. Но что-то в нём было такое, за что блатные с лёгкостью отдавали свою пайку. В радостном предвкушении они шли в процедурную и назывались ложным именем, подставляли руку для вливания живительного раствора. А пайку съедал тот, кто должен был получить укол в свою вену. Ну и, конечно, что-то перепало Ване, взявшему на себя обязанности посредника.

В общем, больница жила своей ни на что не похожей жизнью. Впрочем, всё на Колыме было своеобычное, ни на что не похожее, ни с чем не сообразное. Сама Колыма – от первой палатки и до последнего брёвнышка – была большой чудовищной авантюрой, когда по прихоти узколобого тирана в эти гибельные места были брошены миллионы людей – без предваряющей подготовки, без элементарных условий для проживания. Люди высаживались на пустынный берег, загонялись в безжизненные сопки – и там

приспосабливались как могли. Почти все они умирали, а на их место пригоняли других. Эти другие достраивали и доделывали всё, что могли, потом тоже гибли (хотя и в меньших количествах), а на их места всё гнали и гнали новые этапы, благо, страна большая, и посадить пару лишних миллионов ни в чём не повинных граждан не составляло особого труда, наоборот, массовые посадки мирных граждан были проявлением героизма доблестных внутренних войск, без усталости ведущих борьбу с мировой закулисой и с внутренним врагом, которого (по мнению великого кормчего) становилось больше день ото дня. Да, больница эта была необычная, и нормальному человеку она показалась бы сумасшедшим домом, он не вытерпел бы в ней и единого дня. Но всем тем, кто прибыл сюда с приисков, эта больница казалась настоящим раем. Они мечтали только об одном: никогда не вставать со своих кроватей, не покидать замызганных стен, всю жизнь питаться жидким супом и чёрным хлебом и – не выходить, ни за что и никогда не выходить из больничных ворот! Потому что там, за воротами – страшный лагерный мир, там смерть, там боль, там равнодушие и жестокость, про которые даже и рассказать нельзя.

Пётр Поликарпович постепенно восстанавливал силы, он неотвратимо выздоравливал. И чем больше у него прибывало ему сил, тем мрачнее он становился. Дни шли за днями, и своим чередом пришёл январь сорок первого. Ещё немного – и весна! Первая колымская весна, которую он никогда не видел (но зато слышал о ней много чудного). Хотел ли он увидеть эту весну, этот выжженный солнцем снег, эти выдуваемые безжалостным ветром сопки? Нет, конечно. Он не хотел этой весны, страшился будущего. Хотя и понимал, что это будущее неизбежно настанет, что рано или поздно он предстанет перед врачебной комиссией; и... что тогда? Обратно в лагерь? От одной мысли об этом внутри у него каменело, сердце становилось тяжёлым, а в душу заползал страх. Лагерь означал неминуемую смерть, теперь он знал это наверняка. И каждый день решал неразрешимую задачу: как уклониться от лагеря? Что он должен сделать такого, чтобы не попасть в золотые забои, в «пески», в штурмовую бригаду, где его будут морить голодом и бить смертным боем? Он думал об этом день и ночь, но в голову ничего не приходило. Это потому, что решения этой задачи попросту не существовало. Спасти его могло только чудо. Случится ли оно? Там, на большой земле, чудеса иногда случались. Таким чудом была сама революция, в которую никто по-настоящему не верил и которая грянула как гром среди ясного неба. Другим чудом (со знаком минус) – были все эти аресты лучших людей страны. И вот теперь должно было произойти что-то ещё, что опровергнет совершённую ошибку, эту чудовищную несправедливость. И если есть Бог на небе, то он спасёт Петра Поликарповича, не даст ему погибнуть от непосильной работы, от кулака нарядчика или бригадира, от нестерпимого холода и от неизбывной тоски. На это и оставалось уповать. Ничего другого он не мог придумать. В стране воинствующих безбожников миллионам униженных людей оставалось

надеяться только на высшую силу, на вселенскую справедливость. От земных властителей такой справедливости они уже не ждали.

В конце марта, когда Пётр Поликарпович уже свободно гулял по коридору и всё чаще выглядывал в окно, где уже по весеннему светило солнце, к нему подошёл фельдшер. Они встали в сторонке, у окна. Фельдшер был как всегда угрюм и задумчив. Он как-то по особенному взглядывал на Петра Поликарповича, словно не знал, с чего начать. Потом лицо его как-то странно обмякло и он проговорил своим глухим голосом:

— Завтра в десять утра врачебная комиссия. Вас будут комиссовать. Я буду настаивать на инвалидности. Если всё сойдёт гладко, получите третью группу. Это всё, что я могу для вас сделать.

Пётр Поликарпович с нарастающим волнением слушал эту речь, смысл сказанного доходил не сразу, а как бы с запозданием. Он чувствовал, что происходит что-то чрезвычайно важное и – нехорошее. Это нехорошее было во взгляде фельдшера, в его тоне. Взгляд был какой-то виноватый, словно он провожает его на казнь, готовит к смерти. Сердце вдруг застучало, во рту пересохло. Пётр Поликарпович непроизвольно напрягся. Вот сейчас он должен сказать что-то такое, что спасёт его. Нужно только найти верные слова.

— А здесь мне остаться нельзя? Пока потеплеет...

Фельдшер с минуту смотрел на него, потом ответил.

— Это невозможно. Я и так передержал вас лишний месяц. С меня ведь тоже спрашивают за каждое койко-место. Тут много желающих отдохнуть. Одна больница на всю Колыму. Сами должны понимать.

Пётр Поликарпович торопливо закивал.

— Да, я понимаю и благодарен вам. Но я просто так спросил, ведь можно же как-нибудь меня здесь устроить, санитаром там, кем угодно? — И он с мольбой посмотрел в измождённое лицо собеседника.

Тот снова помотал головой.

— Это совершенно исключено. Тут все с медицинским образованием. Просто так сюда никого не берут.

Пётр Поликарпович подумал секунду.

— Так значит, меня снова отправят в лагерь?

— Да, отправят. Но есть разница – попасть на рудник или на какую-нибудь лесную командировку. Скоро уже весна, лето не за горами. Тепло будет. Если попадёте на сельхозработы, тогда для вас всё будет хорошо. Но для этого нужно получить третью группу. И я постараюсь это устроить. Если на комиссии будут спрашивать жалобы, упирайте на сердце. Жалуйтесь на аритмию, на острую боль в груди, скажите, что если резко наклонитесь, то можете потерять сознания, что так уже было не раз. Ну, чего мне вас учить? Сердце у вас и в самом деле больное. На воле вас из больницы не выпустили бы, прописали постельный режим, а потом отправили на воды, куда-нибудь в Ессентуки. А здесь свои порядки, не нам их менять. — И он протяжно вздохнул.

Пётр Поликарпович опустил голову, ему стало муторно. Снова возникли мысли о побеге. Взять и прямо сейчас убежать, пока ещё не поздно. Он посмотрел украдкой на заиндевшее окно. За стеклом была стужа. Наступила календарная весна, а морозы всё ещё держались под сорок.

— А вторую группу получить нельзя? — спросил на всякий случай.

Фельдшер отрицательно покачал головой.

— Это исключено. Могут и третью не дать. Тут всё очень зыбко. И вы на комиссии сами не говорите об инвалидности, что хотите получить группу. Они этого не любят. Жалуйтесь на сердце, говорите о болячках. Но не пережимайте! — И он предостерегающе поднял палец.

— Да, я понимаю, — кивнул Пётр Поликарпович. — Это как в книге — читатель сам должен сделать нужный вывод. А если автор будет ему навязывать своё мнение, то читатель обидится и не станет дальше читать.

Фельдшер слабо улыбнулся.

— Я сразу понял, что вы умный человек. Жаль будет, если вы здесь погибнете. — Сказав столь сомнительный комплимент, фельдшер повернулся и быстро пошёл по коридору. Он даже не попрощался, и через минуту уже забыл про Петра Поликарповича. Но все эти мелочи ничего не значили. Главное то, что фельдшер обещал помочь. Само по себе это было большой удачей, ведь на Колыме никто никому не помогал, каждый сражался в одиночку. Чем больше Пётр Поликарпович думал, тем яснее понимал это.

Ночью он почти не спал. Сначала не мог заснуть, всё ворочался, скрипел провисшей сеткой. Потом забылся в полусне, как вдруг раздался грохот в коридоре — слышались хриплые голоса, звуки ударов, ругань и возня — кого-то торопливо проволокли мимо двери, тяжело бухая каблуками в пол, потом шум стал удаляться и постепенно стих. Пётр Поликарпович поднялся и прошёл на цыпочках к двери, осторожно открыл и выглянул в коридор. Там ярко горели двухсотваттные лампочки и было пусто, лишь в самом конце виднелся пост часового — за ободраным столом сидел вооружённый охранник. Он поднял голову, и Пётр Поликарпович отпрянул. Прикрыл дверь и лёг на кровать, укрылся одеялом с головой. Хотелось спрятаться, слиться с темнотой, уснуть — и никогда уже не просыпаться. Но к досаде его, уснуть никак не удавалось. И он всё ворочался, всё скрипел железной сеткой, ерзал по жёсткому матрасу. А за окном была колымская ночь. Был мороз, и была тишина — мертвящая тишина северной глуши. Взошла луна — яркая, жёлтая, в ореоле мельчайших блёсток. Встала перед окном — и прямо против Петра Поликарповича, на бледно-жёлтой стене, отчётливо отобразился крест — увесистый и мрачный. В первую секунду Петра Поликарповича обуял ужас, он увидел в этом смертный знак, словно бы он лежит в могиле, а в ногах у него возвышается чуть скошенный крест. Но потом оглянулся на окно и понял, что это оконная рама отбрасывает на стену такую жуткую тень. Ему стало чуть легче, но ужас вовсе не прошёл, сердце всё стучало, на лбу выступил холодный пот. Ежась от озноба, он плотнее укутался в одеяло, крепко зажмурился, весь сжался и постарался забыться, утратить рассудок.

Некоторое время он лежал, сжавшись в комок, потом почувствовал, как по телу побежало тепло, он стал тяжелеть и словно бы проваливаться в зыбучий песок; в ушах зашумело, его закачало, и он наконец уснул – тревожным сном человека, не ждущего от жизни ничего хорошего.

Утром он проснулся с тяжёлой головой и почти без сил. Чувствовал себя совершенно разбитым. С недобрым предчувствием ждал врачебную комиссию, всё не верил, что в это утро решится его судьба. Мелькала мысль, что если бы он вдруг упал на лестнице и сломал ногу, тогда бы комиссию отменили, а его снова стали бы лечить, наложили гипс и заставили лежать на кровати ещё несколько месяцев. Вот была бы красота, вот было бы чудо!.. И он пожалел, что не подумал об этом раньше. А теперь было уже поздно. Просто так ногу себе не сломаешь, это дело непростое.

С такими мыслями он перешагнул порог кабинета, в котором сидели за длинным узким столом шесть человек – все в белых халатах, лишь один в военном кителе и в фуражке. На столе перед каждым лежали бумаги, у всех был усталый вид, на лицах явственно проступало недовольство. Пётр Поликарпович глянул мельком на склонённые головы и быстро отвёл взгляд, боясь показаться дерзким.

— Ну что с ним? Быстро докладывайте! — повелительно произнёс тот, что был в кителе.

Вперёд выступил долговязый фельдшер. В руках у него была история болезни Петра Поликарповича. Он перевернул первый лист и стал читать глухим голосом. Пётр Поликарпович от волнения почти ничего не понимал. Фельдшер сыпал латинскими терминами, употреблял слова: «анамнез» и «акинезия», «тахикардия» и «олигурия». Пётр Поликарпович отчего-то чувствовал себя виноватым и хотел как-нибудь исчезнуть, раствориться без следа. Лучше бы про него позабыли вовсе.

Наконец фельдшер закончил чтение и опустил бумаги, посмотрел на членов комиссии. Те молчали. По лицам их нельзя было ничего понять.

— Какие будут предложения? — задал вопрос военный, обводя тяжёлым взглядом присутствующих.

Никто не пошевелился.

Фельдшер выдержал паузу, потом заявил:

— Считаю нужным определить заключённому Петрову третью группу инвалидности, учитывая его болезни, а также возраст и общее крайне ослабленное состояние организма. Общих работ он не выдержит, это совершенно очевидно. Если его послать на общие, то через месяц он снова будет здесь, и это в лучшем случае. А в худшем... — он не договорил, но все и так поняли его мысль. И все были в душе согласны с фельдшером, но молчали, ожидая, что скажет суровый человек в кителе. Пётр Поликарпович догадался, что всё решает именно он.

Военный поднял голову, посмотрел на Петра Поликарповича таким взглядом, что тот поёжился.

— А ну-ка пройдишь по комнате! — вдруг скомандовал.

Пётр Поликарпович сделал два шага и остановился.

— Присядь... Встань... Подними руки... Голову поверни налево, теперь направо...

Пётр Поликарпович послушно исполнял приказания.

— Понятно, — молвил китель. — Вон какой здоровый лоб. Ему работать и работать. Если таким давать инвалидность, как же мы тогда выполним наказ товарища Сталина? — и он грозно посмотрел на фельдшера, который всё это время неподвижно стоял возле стола. Фельдшер спокойно встретил этот взгляд, лицо его оставалось бесстрастным.

— У Петрова порок сердца, ревматоидный артрит, пеллагра. Он не выдержит общих работ. Это не только моё мнение. Его осматривал профессор Никитинский.

— Никитинский его осматривал, — проворчал военный. — Все вы тут заодно. Разогнать вас всех надо к едреней фене, чтоб не мутили тут воду. Устроили богадельню. Отправляю вас всех на штрафняк, узнаете тогда и артрит, и гидропирит, и пирог с перцем.

Пётр Поликарпович стоял ни жив, ни мёртв. В эту секунду он был готов ко всему. Если бы его прямо из кабинета повели на расстрел, он бы не шибко удивился. Но расстреливать его пока было не за что. Да и не с руки. Не для того везли его на Колыму длинным этапом, чтобы здесь так просто убить. Прикончить его можно было и в Иркутске без всех этих хлопот. Но раз уж привезли, надо было выжать из него все соки, получить максимальную отдачу, а уж потом пусть подыхает — не жалко! Так странно получалось, что от таких вот доходяг, от миллионов измученных, полностью выпотрошенных людей — зависело благополучие огромной страны! Чтобы там, на материке, миллионы граждан ели по утрам батон с маслом, а вечером ходили в театры и на стадион, — здесь, на Колыме, должны были издыхать от непосильной работы сотни тысяч таких вот Петровых, Ивановых и Сидоровых. Такая получалась диалектика по Сталину, такой закон единства и борьбы противоположностей по-советски. Такая высшая справедливость.

— Всё, свободен! — кивнул на дверь китель. — Проваливай, мы тут ещё подумаем.

Пётр Поликарпович вышел на негнущихся ногах. Потом стоял возле стены, рассматривал потёки бурой краски и словно бы вспоминал что-то важное, будто он упустил нечто такое, от чего зависела его жизнь. Но вспомнить никак не удавалось, он не мог ни на чём сосредоточиться, мысли прыгали с одного на другое, и всё вокруг казалось нереальным, призрачным. Его бил мелкий озноб, дыхание было прерывистым.

Наконец вышел фельдшер. Приблизился с мрачным видом и произнёс, глядя мимо Петра Поликарповича:

— Всё нормально. Третью группу вам дали. Поздравляю. — Последнее он произнёс таким тоном, будто отдавал приказание или сообщал суровую весть. Потом наклонил голову и пошёл по коридору, глядя себе под ноги. Пётр Поликарпович хотел что-нибудь ответить, но так ничего и не придумал, лишь проводил взглядом долговязую фигуру. Он чувствовал подспудную радость (если можно так выразиться), но всё равно продолжал тревожиться,



будто обманул высокую комиссию и сейчас обман выяснится, а его примерно накажут. Но никто не обращал на него ровно никакого внимания. В страшный кабинет проникали всё новые больные, без рук и без ног (безногих затаскивали на носилках, одноногие прыгали сами), с перевязанными головами (похожие на мумии); были и такие, как Пётр Поликарпович, без видимых изъянов. Из-за двери слышались голоса, то требовательные и громкие, то тихие и слезливые, с просящими нотками. Высокая комиссия быстро управлялась. Приближалась весна, вот-вот должен начаться промывочный сезон. Сотни приисков настойчиво требовали рабочие руки – взамен тех, кто ушёл под сопки, потерял здоровье и уже не мог выдавать на гора «кубики». Все увечные и обессиленные, способные держать лопату хотя бы одной рукой и прыгать на одной ноге, должны были вернуться туда, откуда они были выброшены как шлак, как отработанный материал. Чудовище не хотело отпускать свои жертвы, никак не могло насытиться. В его бездонную утробу падали всё новые жертвы.

Пётр Поликарпович вернулся в свою палату. К нему сразу подступил Александр Иванович. Узнав про инвалидность, он просиял. Лицо расплылось в счастливой улыбке.

— Поздравляю! — произнёс с чувством. — Признаться, не думал, что вам дадут инвалидность. Раньше такого не было. Значит, что-то меняется. Появляется надежда.

Пётр Поликарпович пожал плечами.

— Не знаю, что сказать. Не сегодня-завтра меня отправят в лагерь. А что там будет – одному богу известно. Или чёрту.

— Ну уж! Зачем так мрачно? У вас в деле теперь будет стоять штамп – «ЛФТ». Вас больше не заставят катать тачку целый день. На этот счёт есть строгие инструкции.

Пётр Поликарпович протяжно вздохнул.

— Не знаю. Там, где я был – нет никаких правил. Инвалид, не инвалид – всё едино. Начальник прикажет – и все идут на работу. А за отказ – карцер. Я три дня в ледяном карцере просидел. Чуть ноги не протянул.

Александр Иванович кивнул.

— Ну-да, конечно, бывает и такое. Но теперь весна, скоро станет тепло. Не думаю, что вас снова отправят на дальние прииски. Возле Магадана полно лагерей. Тут где-нибудь и оставят. Здесь и зима не такая холодная. На побережье так вообще морозов почти не бывает. Вот бы нам с вами тут где-нибудь пристроиться! Как вы думаете?

Пётр Поликарпович улыбнулся против воли.

— Да, было бы неплохо. Хотя и в обычном лагере могут все жилы вытянуть. Попадёшь к злому бригадиру, или дневальный тебя невзлюбит – и всё, хана. Никакая инвалидность не поможет. Последнюю шкуру с тебя спустят.

Александр Иванович тяжело вздохнул.

— Это тоже верно.

И оба они погрузились в невесёлые размышления.

Но грустить на Колыме некогда. Всё движется и меняется каждую секунду. Не успел заключённый сомкнуть глаза, как уже его будят на работу. Только-только присел передохнуть, как следует грозный окрик, а то и подзатыльник: нечего сидеть без дела, надо вкалывать, кругом проклятые империалисты, нужно трудиться не покладая рук, а то задавят нас, сволочей — другие сволочи! Вот и Петру Поликарповичу не оставили времени на сомнения и сожаления. Уже на следующее утро ему выдали на складе зимнюю одежду и повели к больничным воротам, где собирался этап. В кузов грузовика набилось больше двадцати человек. Быстрая переключка — и машина выехала из ворот. Заключённые с тоскливыми лицами смотрели на удаляющиеся ворота, видели, как боец в белом тулупе смыкает створки, а потом заходит в будку-проходную. Дверь закрылась, и всё замерло. Этот оазис милосердия среди необъятной ледяной пустыни остался в прошлом, пути назад не было. Все это понимали. Никто сюда уже не вернётся.

Теперь всё внимание было обращено на дорогу. Пётр Поликарпович знал, что до основной трассы шесть километров. И если они свернут налево, тогда всё будет хорошо; слева — Магадан и бухта Нагаево, пароходы и неоглядная морская даль. А если повернут направо, тогда всё плохо. Там — страшная колымская трасса со всеми её лагерями, штрафняками, спецзонами, ОЛП и командировками — две тысячи километров аж до самого Якутска. В эту сторону лучше не сворачивать (была б граната — бросил бы под колесо!).

Грузовик ЗИС-6 — с квадратной кабиной и сдвоенным задним мостом — быстро ехал по зимней трассе, оставляя за собой снежную взвесь. Окрестный пейзаж не отличался разнообразием — во все стороны расстилалась равнина, укрытая толстым слоем снега. Кое-где из-под снега торчали чёрные кусты, а деревьев не было вовсе. Вдали, за десятки километров, были едва различимы горы с округлыми вершинами. И ни дымка, ни намёка на жизнь. Вся эта равнина казалась вымершей. Да так оно и было, потому что всё то, что пряталось в её волюнообразных складках, нельзя было назвать жизнью; в лучшем случае — существованием, тотальным стремлением спрятаться от жестокой реальности.

Грузовик, наконец, подъехал к основной трассе. Все замерли, кажется, даже сердца перестали стучать! И как только передние колёса въехали на утрамбованный наст главной колымской трассы, так сразу машину повело вправо, и ещё, и ещё...

Послышался вздох разочарования.

— Сволочи, — отчётливо произнёс кто-то, — не могли на местную отправить!

Никто больше не проронил ни слова. Пётр Поликарпович крепко стиснул зубы. Опустил голову и несколько минут просидел в согнутом положении, стараясь успокоиться, говоря себе, что ещё ничего страшного не случилось, до Яблонового перевала далеко. Тут поблизости полно лагерей, не может быть, чтобы их отправили за пятьсот километров, когда и здесь полно работы. Нет, не может! (Почему этого не может быть, он и сам не знал, но крепко в это верил). А машина уже мчалась по трассе, прибавляя ход.

Замелькали прямоугольные столбики по обочинам, засверкал снег. Некоторое время Пётр Поликарпович внимательно следил за дорогой, потом перестал смотреть. Слишком это было мучительно.

Летели минуты, оставались позади километры. Всё дальше от больницы, от Магадана, от бухты Нагаево. Ступит ли он когда-нибудь на побелевшие от соли брёвна причала? Взойдёт ли на корабль, идущий на материк?

— Уптар проехали, сорок седьмой километр, — услышал Пётр Поликарпович. Поднял и тут же опустил голову. Машина ревела, в ушах свистал ветер. Было страшно, холодно, жутко.

Проехали ещё с полчаса, и вновь кто-то всезнающий крикнул:

— Палатка! Палатку проезжаем! Вон она!

Все подняли головы. И точно – с левой стороны виднелись деревянные строения. Пётр Поликарпович смутно помнил, что был здесь осенью, они тогда делали остановку. Но теперь он не мог узнать это место. Да оно и ни к чему было – машина промчалась мимо, даже не притормозив. И уж после этого всякие сомнения отпали – их везут куда-то очень и очень далеко – умирать.

Но прогнозы на Колыме – штука ненадёжная. Через несколько минут Пётр Поликарпович в этом убедился. Грузовик отъехал от Палатки несколько километров и вдруг стал поворачивать влево. Секунда – и они уже мчатся куда-то в сторону, основная трасса осталась позади, а впереди показалась речка и деревянный мост через неё. Вот и мост остался позади, машина свернула влево и поехала в обратную сторону, параллельно основной трассе. Через минуту – резкая петля вправо, и машина помчалась вглубь материка.

— Куда это мы? — крикнул парень от борта.

Некоторое время все всматривались в быстро меняющийся пейзаж, словно не веря себе. Потом кто-то уверенно сказал:

— Это мы на Теньку свернули. Я тут бывал. Трассу тянут аж до самого Сусумана, года три уже. Тоже не сахар. Гиблые места.

Все разом обернулись.

— А что тут ищут?

Заключённый махнул рукой.

— Да всё то же. Золото есть. Оловянные рудники. Дорожные участки. Хрен редьки не слаще. Но есть тут, ребята, особый лагерь – Бутугычаг называется. Тысяч пятьдесят народу в нём сидит! Во как! Не приведи господь попасть нам туда. Если только нас туда везут, тогда нам всем крышка, верно говорю. Полгода повкалываешь – и каюк.

Повисла тягостная пауза. Потом кто-то спросил:

— А далеко до этого гутугычага?

— Километров двести.

Машина тем временем мчалась точно на север. Трасса была ровная, прямая, с плавными извивами. По обеим сторонам стояли стеной кусты, а впереди вздымались горы. И чем дальше они ехали, тем горы становились выше, мрачнее. Машина незаметно шла на подъём, и через полчаса оказалась на возвышенности, откуда открывался роскошный вид на сотни километров.

Во все стороны тянулись хребты, составленные из каменных глыб, покрытые снегом и льдом. Пейзаж был чудесный и какой-то жуткий, от него веяло холодом и первобытной силой. Заключённые заворожённо взирали на эту дикую красоту. Одолев перевал, машина покатила под уклон, помчалась по длинной пологой дуге, пока не вылетела на равнину и снова понеслась прямо, вздымая облака снежной пыли. Пётр Поликарпович стал мёрзнуть. В спину тянуло холодом, задувало за воротник, лицо горело огнём, дышать становилось всё трудней. Очень хотелось есть, нутро просило тепла, горячего чаю, а ещё лучше — миску супа (кажется, выпил бы через край единым духом!). Голова раскалывалась от надрывного гула, поясницу ломило, а машина неслась вперёд, глотая километры, оставляя позади сопки, заснеженные поля и чахлую растительность. Всем было неуютно, тревожно и тягостно, но нужно было терпеть, как бы тяжело ни было. Лагерь учит человека терпению и кротости. Наука эта — наиглавнейшая для любого заключённого, если только он не хочет погибнуть в первые же дни.

На семьдесят втором километре машина притормозила и повернула на боковой просёлок, резко накренилась на левый борт и медленно поехала по заснеженной извилистой дороге. Все разом встрепенулись, закрутили головами.

— Никак свернули?

— Точно!

— Куда это мы?

Но никто ничего не знал. Между тем, грузовик с заключёнными приближался к Мадауну — небольшому посёлку, вытянувшемуся вдоль берега причудливо извивающейся речки Магдавен. В пойме реки, среди камня и песка, расположилось дорожно-строительное управление, отсюда были пробиты зимники к целому вееру лагерей, добывающих касситерит и золото. К одному из этих лагерей и направлялся грузовик с заключёнными. До лагеря было не так уж далеко — двадцать семь километров. Но в иные месяцы эти километры легче было пройти пешком, нежели проехать на грузовике. Дорога сворачивала на восток и тянулась берегом Армани — довольно крупной речки, берущей начало в отрогах колымского нагорья и впадающей в Охотское море в шестидесяти километрах западнее Магадана. Летом, когда вода поднималась, дорога становилась непроходимой. Весной, в ледоход, тут и вовсе было не пробраться. Лишь поздней осенью, когда вода спадала, грузовики могли проехать по обнажившемуся руслу. Зимой ездили по льду, предварительно очистив трассу от снега. Недостатка в рабочей силе не было — пять больших лагерей расположились по берегам Армани — в глубоких распадках, среди каких-то марсианских пейзажей, под бездонным тёмно-синим небом. Горы были высокие, с крутыми взъёмами, неприступные на вид. Но что может устоять перед напором революционных масс, перед мощью социалистического строительства? На высоченных сопках, на самой крутизне — руками безотказных заключённых были построены циклопические сооружения из железобетона, протянуты металлические тросы и проложены самые настоящие рельсы (там, где приходилось

карабкаться на четвереньках). По этим рельсам спускались с верхотуры гружёные касситеритом вагонетки, а обратно возвращались порожние. На самом верху, среди кедрового стланика и мхов, были вырублены в земле огромные пещеры. Неподатливый грунт рвали аммонитом и кромсали железными кайлами, кидали лопатами в вагонетки и отправляли вниз, на обогательную фабрику – день и ночь, день и ночь! Арманская обогащательная фабрика, заброшенная в эти необжитые места, давала так нужное стране олово. И если бы понадобилось спуститься за оловом на дно северного ледовитого океана – заключённых отправили бы и туда, в подводных лодках и просто так, в чём есть. И уже не так далеко было время, когда алчущие взоры большевиков устремятся к звёздному небу, где плавает среди ночного эфира никем не тронутая Луна и летают во множестве никем не учтённые астероиды, состоящие из молибдена, никеля и всего того, чего так не хватает советским домнам и мартенам. Но сталинские соколы никак не могли оторваться от грешной земли (потому что создатель советской космической индустрии, будущий академик Королёв, трудился тут же, на Колыме, на прииске Мальдяк, что в тридцати пяти километрах севернее Сусумана – наравне с другими заключёнными таскал носилки с золотиносным песком, кайлил вечную мерзлоту, жевал мёрзлую пайку своими сломанными во время пристрастных допросов челюстями и едва-едва не отдал там душу Богу, уцелев каким-то чудом и вернувшись на материк). Но всех этих чудес никто тогда не знал и не предполагал. Сам Королёв не ведал своего будущего – не мог и помыслить, что сменит лагерную робу на гражданский костюм, будет жить в Москве и отправит в космос Юрия Гагарина, за что получит ордена и почётные звания, а также почёт и уважение, какие редко кому достаются в этом жестоком и циничном мире.

Двадцать семь километров – не бог весть какое расстояние. Но двухосный «ЗИС» одолевал его целых три часа. Редко когда удавалось проехать строго по прямой хотя бы двадцать метров. Дорога петляла как сумасшедшая, иногда вздыбливаясь, иногда пропадая вовсе. То она шла по замерзшему руслу, то поднималась на заснеженный берег, чтобы тут же спуститься обратно; ни одной секунды из этих трёх часов заключённые не сидели в кузове спокойно. Их кидало то в одну сторону, то в другую, то все дружно валились назад, цепляясь за борта и скамейки, а то всем скопом наваливались на кабину, так что та трещала и гнулась. Слышались проклятия и стоны, а машина всё урчала, всё переваливалась на ледяных торосах, всё ехала по ложбине между мрачных нависающих склонов. Уже стемнело, окрестные горы скрылись в густой черноте. Солнце опускалось позади машины, а та устремлялась в надвигающуюся тьму, словно в преисподнюю. Становилось всё холоднее, всё глуше. Пётр Поликарпович поминутно тёр ладонями щёки и нос, и тут же хватался за борта, чтоб не расшибиться от резкого толчка. Кто-то уже плевался кровью, кто-то стонал, и все желали лишь одного: чтобы проклятая дорога поскорей закончилась. Всем было ясно, что не может такой маршрут длиться долго. Ведь ехали они не на

страшный север, а на восток – по направлению к колымской трассе, огибающей весь этот участок справа и уводящей на северо-запад.

Наконец, этот жуткий рейс был окончен. Машина последний раз взревела и стала, мотор дёрнулся и затих. С минуту заключённые сидели не двигаясь, оглушённые, словно не веря себе. Воцарилась мёртвая тишина. С обеих сторон высились мрачные громады. Белая лента реки убегала вдаль, теряясь во тьме. Небо было тёмное, беззвёздное, глухое. Всё вокруг было непроглядно, как если бы они очутились на другой планете, где нет жизни, нет тепла и нет света. Однако, жизнь тут всё-таки была. На берегу, скрытый невысокими раскидистыми деревьями, похожими на громадно разросшиеся кусты, расположился довольно большой лагерь, официально именуемый весьма сухо: «Обогащительная фабрика № 6 Тенькинского горно-промышленного Управления». Сжатый крутыми сопками и стоящий на вечной мерзлоте, куда почти не попадали солнечные лучи, лишённый всякой связи с внешним миром, лагерь этот был поистине гиблым местом. Оловянные рудники были ничем не лучше рудников золотых. Там и здесь – неподатливый камень, впрессованный в недра гор. Там и тут – тачка и кайло, сделанные по одному шаблону. Там и здесь взрывные работы, двенадцатичасовой рабочий день, скудное питание и непосильные нормы, придуманные в тиши кабинетов людьми, которым никогда не приходилось целый день махать кайлом и катать стокилограммовые тачки. И везде заключённых бьют и унижают, везде из них стараются вытрясти душу, словно они не люди, а зловредные насекомые – вроде вшей, которых нужно уничтожать каждую секунду, каждый день и в любом месте, как только увидишь!

Заклучённые вылезли из кузова, спускались на заснеженный лёд реки и подавленно озирались. Никто не ожидал увидеть столь мрачную картину. Если бы они приехали днём, впечатление было бы не столь удручающим – светило бы солнце, а небо было синим, и снег блестел. Но теперь, в непроглядной тьме, после тряской изматывающей дороги на тридцатиградусном морозе, все чувствовали себя вконец вымотанными – ноги не гнулись, спины одеревенели, и мысли ворочались тяжело. Но конвой не дал им времени одуматься. Последовала команда на построение, и колонна из двадцати человек медленно двинулась в лагерь. Они прошли по заснеженному руслу Армани несколько десятков метров и повернули налево; река в этом месте раздваивалась: основной поток уходил прямо, на восток, а слева был небольшой рукав – ручей Светлый. На берегу этого ручья им теперь и предстояло жить и работать. Здесь, в довольно густом лесу, среди лиственниц, чосинии, брусничника и вездесущих мхов – стояли деревянные бараки, сделанные всё из той же лиственницы и устроенные прямо на земле, во мхах. Бараки были приземистые, узкие, длинные и холодные (как и всё здесь). Внутри было тёмно и смрадно. Там стояли двухэтажные сплошные нары, а в проходе – железные бочки с самодельными трубами из жести, служившие вместо печей. Посреди прохода протянулся узкий стол из неструганных досок. В сенях стояла параша. А окон не было вовсе (да и

зачем они? — только холод запускать). Таких бараков было несколько десятков. Они стояли среди довольно густого (по колымским меркам) леса, огороженные колючей проволокой с караульными вышками. Сама фабрика расположилась на берегу Армани и являла собой удивительное зрелище: посреди леса, в окружении мрачных гор высились десятиметровые бетонные блоки. Они казались здесь нелепыми, инородными, ненужными. Было непонятно, как эти огромные глыбы были сюда доставлены? И главное — зачем? Кругом — непролазные кручи, ледяные реки и ручьи, изломанный ветрами и морозами лес, кругом холод и полное безлюдье. Но наперекор всему здесь была построена исполинская фабрика, где было всё то, что и бывает на подобных производствах: дробильные машины, транспортёры, конверторы, ротационные машины и генераторы электрического тока. Но главной движущей силой были, конечно же, люди — бывшие писатели и журналисты, актёры и секретари райкомов, крестьяне и машинисты локомотивного депо, бухгалтера, врачи, учителя, недоучившиеся студенты... Всем им предстояло начать жизнь заново, освоить рабочую специальность, получить социальный статус и заслужить уважение товарищей. Былые заслуги тут никакой роли не играли. Всё нужно было начинать с нуля — неважно, двадцать тебе лет или шестьдесят. Скидки никому не делали. От каждого — по труду, и каждому — пайку в зубы (а кому и пулю в затылок).

Задышавшись в разреженном морозном воздухе, с трудом переставляя ноги в сахарном снегу, Пётр Поликарпович брёл за своими товарищами. У лагерных ворот заключённых пересчитали, сверились со списком, а потом всё же запустили внутрь. Всем хотелось поскорей попасть в тепло, получить ужин и упасть на нары. О завтрашнем дне никто не думал, все жили настоящей минутой, хотели пережить лишь её, невольно исполняя завет Иисуса: *«Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы»*. Заключённые и хотели бы озаботиться о завтрашнем дне, но это было невозможно. Личные желания тут ничего не значили. Всё делалось по приказу, по грубому принуждению. Всеми руководила чужая воля. И все должны были этой воле покориться.

На ночь прибывших загнали в тёмный холодный барак. И ни ужина, ни куска хлеба, ни ободряющего слова. Захлопнули тяжёлую дверь и закрыли на замок. Возиться с ними никому не хотелось, да и чего беспокоиться? Лагерное начальство рассуждало, конечно, очень здраво: ко всему привычные эки дотерпят до утра без воды и без хлеба — чай, не подохнут. И холод как-нибудь переживут. Всё это было многократно проверено и не вызывало вопросов. Было установлено опытным путём, что заключённых можно не кормить целую неделю, и ничего страшного при этом не случится. Для острастки можно расстрелять пару десятков человек, а остальные сами успокоятся, ещё и рады будут, что не расстреляли. Вот и этих доходят, прибывших в лагерь прямо из больницы, никто и не думал как-то по-особому встречать. Да и шутка ли — цельную зиму припухали в больничке! Пора бы и честь знать.

Утром их подняли как и всех – в шесть часов. Пришёл хмурый нарядчик в бушлате и валенках и, глядя в список, быстро распорядился – кого и куда определить. Пётр Поликарпович опять попал на общие работы. Его, и ещё двоих заключённых, забрал тут же стоявший бригадир. Он скептический оглядел пополнение, криво усмехнулся и распорядился:

— Топайте за мной.

Топать было не очень далеко. Они вчетвером вышли из барака и сразу же погрузились в морозную мглу, от которой прихватывало дыхание. Пётр Поликарпович закашлялся. Морозный воздух резал лёгкие, так что нельзя было глубоко вздохнуть. Он прижал рукав к лицу и так шёл, втянув голову в плечи, почти не видя тропы под ногами. Над головой стояло звёздное небо, ярко светили звёзды в ледяной пустоте, и нельзя было поверить, что уже утро, так было темно и глухо. Но лагерь уже не спал. Из бараков выходили на улицу черные фигуры, резко скрипел снег под ногами, слышался надрывный кашель, кто-то ругался, кто-то кричал фальцетом, тут же шастал конвой с винтовками – было обычное утро обычного колымского лагеря. Бывалые заключённые уже приноровились к раннему подъёму, к морозу и грубости всех вокруг, не исключая своих же товарищей, они вовремя выходили из барака, привычно вставали в строй и молча исполняли приказания, экономя дыхание, не тратя попусту силы. А новички постигали науку выживания подобно зверям, которых дрессируют и калечат, когда за каждое неверное движение следует грозный окрик и удар бича. Хотя, следует признать, что с дикими животными обращаются гораздо гуманнее: их не морят голодом, не выгоняют на сорокоградусный мороз и не заставляют весь день работать на этом морозе. Оно и понятно: при таком обращении все животные давно бы уже передохли. Но человек выносливее любого животного, это уже доказано. Там, где дохнут лошади и околевают собаки, где ни одна тварь не выдержит и нескольких суток — человек выдерживает недели и месяцы, а иногда и целые годы. И никому это не кажется удивительным.

Вслед за бригадиром Пётр Поликарпович вошёл в своё новое жилище – барак, ничем не отличающийся от других. Бригадир показал новичкам их места на нарах и объявил, что прямо сейчас они должны идти в столовую, а потом на работу.

Пётр Поликарпович решил сразу объясниться.

— Мы только что из больницы, — сказал он по возможности мягко.

— Ну и что? — спокойно ответил бригадир – молодой мужчина с круглым лицом и равнодушными глазами.

— Ну как... — растерялся Пётр Поликарпович, — мне инвалидность дали, третью группу. Сказали, что на общие работы меня больше не пошлют, будет лёгкий физический труд. У меня и в деле так записано.

Бригадир усмехнулся.

— А это и есть лёгкий физический труд. У меня вся бригада такая. Норма для вас – пятьдесят процентов от обычной выработки. А пайку получать будете за все сто. Понятно? — И он подмигнул.



Пётр Поликарпович хотел согласно кивнуть, но отчего-то удержался. Про половинную норму для инвалидов он уже слышал, но он ведь не об этом спрашивал. Почему его отправили на общие работы – вот что его волновало! Он и по золотому забою знал, что половинная норма выработки может очень быстро загнать человека в могилу, особенно, если у него больное сердце. Но как всё это растолковать бригадиру?

— Ладно, хватит трепаться, — вдруг отрезал тот. — Побудете пока у меня, а там видно будет.

Делать было нечего. Все трое переглянулись и пошли вон из барака.

Этот первый день в новом лагере особенно запомнился Петру Поликарповичу. Он всё-таки надеялся, что будет полегче, чем на золотом прииске. Но здесь оказалось тяжелее (несмотря даже на половинную норму выработки). В бараке было холоднее. Кормили хуже. А к месту работы приходилось карабкаться по засыпанному рыхлым снегом крутому склону. На гору карабкались — кто как умел. Пётр Поликарпович с непривычки несколько раз падал и скатывался несколько метров, цепляясь за корявый стланик и за что придётся, ломая ногти, сдирая кожу с пальцев. Кое-как добрался-таки до вершины. А там – ледяной ветер, продувающий насквозь. Сразу захотелось лечь, спрятаться в какую-нибудь нору. Бригадир махнул рукавицей на круглое отверстие в горе, из которого выходила узкоколейка. Остальные заключённые уже шли к отверстию, скрывались в тёмной дыре; пошёл вслед за всеми и Пётр Поликарпович.

Это был шахтный ствол, входящий в гору под крутым углом. От ствола шли в разные стороны квершлагги – подземные выработки, где работали заключённые. Всё это напоминало откатку на золотом прииске, с той лишь разницей, что там всё происходило под открытым небом, а здесь было упрятано под землю, в недра каменной горы. На прииске приходилось катать тачку по деревянному трапу, здесь же были вагонетки, катившиеся по железным рельсам. Где было легче?.. Этого нельзя было так сразу сказать. Трудно было и там и тут. Внутри горы не было пронизывающего ветра, но не было же и солнца! Работать приходилось в полутьме и в страшной зажатости, при свете тусклых и страшно неудобных вонючих карбидных ламп. Ну а инструменты были всё те же – выкованное из железа кривое кайло, совковая лопата с сучковатой ручкой, а ещё кувалда и железные клинья для разбивания камня – всё какое-то допотопное, страшное и очень неловкое. В первый день Пётр Поликарпович испробовал и кувалду и кайло, и вполне убедился, что даже половинная норма – пять кубов оловянного камня – вещь для него непосильная. Он уже имел опыт такой работы и знал, что сил хватит ненадолго. Неделя, от силы – две. А потом... Потом будет то же, что было на золотом прииске. Штрафной изолятор, побои (сначала умеренные, а потом до крови и увечья), истощение, утрата последних сил и — смерть. До лета он здесь вряд ли дотянет. Был только конец марта, а тепло придёт лишь в мае. Да и что толку в этом тепле? Внутри горы вечная мерзлота, лёд на стенах не тает и в июле. Если его не переведут на другую работу, тогда дело дрянь. Зря его возили в больницу. Уж лучше бы всё закончилось там, в Хатыннахе. А

ещё лучше – в пересыльном лагере под Магаданом, когда было тепло и были ещё силы. Отказался бы от работы – и его бы расстреляли без лишней волокиты. И не было бы всех этих мучений.

Думая обо всём этом, чувствуя подступающее к сердцу отчаяние, Пётр Поликарпович изо всей силы бил кайлом в мёрзлую стену. Стоять просто так было нельзя, да он бы и замёрз, если б не работал. И он поднимал и опускал железный снаряд, высекая искры из камня, отворачиваясь от летящих в лицо осколков. Вагонетка наполнялась страшно медленно, до обеда с трудом удавалось наполнить одну, и ещё одну – до конца рабочего дня. Это и была половинная норма – пять кубов за смену. А целая норма – в десять кубов – казалась фантастической. Но кто-то же совершал и этот подвиг, получая усиленный паёк! Кому-то же давали премиальное блюдо в лагерной столовой! Пётр Поликарпович давно понял, что никакие блюда и никакие усиленные пайки не восполнят силы после такого «ударного» труда. Вручную нарубить в скале десять кубометров камня, потом съесть полтора килограмма хлеба и пару мисок баланды и лечь на голые нары в холодном бараке, проспать сном животного шесть или семь часов – и снова идти в ледяной забой, так несколько месяцев подряд, — всё это находилось за пределами человеческих сил. Однако, деваться было некуда – надо было работать или же умереть сразу. Отказчиков расстреливали – на всех приисках, во всех лагерях — вполне официально убивали заключённых за три отказа от работы, на то был специальный указ. Расстреливали даже и за невыполненную норму, приравнивая это к саботажу. Впрочем, заключённый, получавший штрафной паёк, всё равно был обречён на смерть. Вокруг каждого колымского лагеря были безымянные кладбища – без крестов, без каких ни то знаков. В тридцать седьмом году хоронили поодиночке, а уже начиная со следующего года – только скопом, только в братские могилы — по несколько десятков или даже сотен скрюченных тел зараз. Потому что каждому заключённому рыть могилу не было никакой возможности. Да и гораздо удобнее это – свалил всех в кучу, завалил камнями – и нету ничего! Ни памятного знака, и ни единой фамилии. Словно и не было на свете всех этих людей, не рожали их матери, не мечтали все они о счастье, не строили планов на будущее.

Пётр Поликарпович понимал, что из этого лагеря живым его не выпустят. Если бы он протянул хотя бы год, тогда ещё была б надежда на перевод в другой лагерь, где будет полегче. Но целый год он здесь не выдержит. До лета ещё можно как-нибудь дотянуть. А что потом? Снова пятидесятиградусные морозы и убийственный труд? Сердце уже сейчас работает с перебоями, и все суставы болят так, что невмочь. Нет, целый год он не сдюжит. И оставалось лишь одно – бежать из этого лагеря. Надо только дожждаться тепла. Ну и составить какой-нибудь план. Самое простое – сплавиться по реке. До Охотского моря километров двести. Можно за трое суток доплыть. А что там будет дальше, Пётр Поликарпович не загадывал. Казалось: только бы добраться до берега, увидеть море, и всё сразу же образуется. Без этой веры он не смог бы дальше жить. Просыпаясь утром в

насквозь промороженном бараке, он думал лишь о том, как наступит тепло и как он поплывёт по реке на плоту мимо высоких гор – всё дальше и дальше, прочь от лагерных вышек, от уродливых бетонных блоков, от грохота дробильных машин – к свету и теплу, к вольной жизни на берегу необъятного океана, за которым скрываются тёплые страны и добрые люди. В глубине души он понимал, что всё это утопия, несбыточные мечты. Но красочные видения упрямо вставали перед глазами, он никак не мог их прогнать. Ступая по скрипучему снегу под холодным светом неподвижных звёзд, чувствуя обжигающий холод на шее и на щеках, он видел внутренним взором синее море и жёлтый песок, ступал по этому песку босыми ступнями, чувствовал тёплую набегающую волну, слышал крики чаек, рассекающих воздух. И лицо его расслаблялось в блаженной улыбке, так что товарищи косились на него, потом переглядывались и кивали друг другу с понимающим видом. Им казалось, что этот нелепый старик потихоньку сходит с ума. Они так и ждали, что он выкинет какую-нибудь штуку: бросится с кручи вниз, или запустит кайлом в охранника, или вдруг зальётся идиотским смехом, так что придётся его бить, пока не издохнет. Но Пётр Поликарпович лишь тихо улыбался и ничего такого не вытворял. Все так и решили, что помешательство его тихое, безобидное. Интерес к нему постепенно угас. Только бригадир всё присматривался, всё хмурился, глядя на Петра Поликарповича. Этот заключённый не нравился ему. Он сразу почуял в нём чужака. Этот внимательный взгляд, тихая речь, повадки интеллигента – всё было чужое, и чем-то очень неприятное. «Иван-иванычей» в лагерях не любили. Как-то ещё терпели работяг, подтрунивали над деревенской простотой, в открытую смеялись над попами, но вот интеллигенты здесь были на особом счету. Им мстили за все унижения, подлинные и мнимые, которые эти умники чинили простым советским людям на воле. Там они командовали и ухмылялись, важничали и чванились; здесь же им пришлось хлебнуть всего того, что с рождения хлебали «простые советские люди» без высшего образования – пахари и работяги, слесари и лудильщики. Всю свою злобу, все обиды и все унижения возвращались к интеллигентам сторицей. И это казалось всем правильным и справедливым. Не надо было гордиться на воле, не пришлось бы теперь раскаиваться и плакать горячими слезами.

Пётр Поликарпович чувствовал нарастающую враждебность товарищей. С ним не разговаривали нормальным языком, то и дело толкали при выходе из барака («ну ты, ходи да поглядывай!»), не пускали за общий стол в столовой («жри стоя, так больше войдёт!»), ему доставались худшие инструменты при утренней раздаче в инструменталке – погнутые лопаты и слетающие с деревянной ручки кайла. Он всё это терпел. Силы постепенно убывали, и он считал каждый прожитый день.

В середине апреля вдруг подул тёплый ветер с юга. Пётр Поликарпович вышел из шахты, повернулся навстречу тёплому ветру, расправил плечи и стал глубоко дышать; в голове приятно зашумело, почувствовалось что-то очень хорошее, хотя и бесконечно далёкое. Солнце стало раньше

показываться из-за гор. Но снег не таял, не сбегал ручьями по склонам, а как бы испарялся, истончался и сходил на нет. Пётр Поликарпович внимательно рассматривал открывающуюся перспективу. Хорошо было смотреть с высоты. Было видно, как река изгибается вправо, пробивая себе путь среди каменной гряды. Огибая лагерь и стоящую на берегу фабрику, речка стремилась на запад, а потом должна была повернуть на юг, к морю. При мысли о том, как он поплывёт по этой речке на плоту, сладко ныло сердце. О том, что по обеим берегам Армани стоят оперпосты, что через тридцать километров река достигает Мадауна, в котором полно народу и плот сразу заметят, — Пётр Поликарпович не думал. Всё это было лишнее, мешающее счастью. Он не мог лишить себя надежды на спасение, какой бы призрачной она ни была. Если бы надежда исчезла, он не смог бы дальше бороться и жить.

В конце апреля его перевели в другую бригаду, и это был добрый знак. Больше не надо было подниматься на оледеневшую гору и весь день долбить мёрзлый камень. Теперь он ходил за дровами за территорию лагеря, собирал хвою стланика в большие кули, носил воду с речки в столовую и баню. Всё это не шло ни в какое сравнение с ледяным штреком в каменном мешке. Тут было разнообразие впечатлений, можно было перевести дух и оглядеться. И главное — не было производственного плана, никто не стоял над душой и не требовал «кубики», не пугал карцером, не замахивался лопатой и чем придётся. Да, это было доброе предзнаменование! К тому же, Пётр Поликарпович получил возможность осмотреть местность, пройтись по лесным тропам, лучше узнать обстановку вокруг лагеря. Обычно они с утра уходили на север по узкому распадку вдоль ручья; местность едва заметно шла на подъём, слева высилась гора, а справа тёк ручей. Здесь же росли невысокие лиственницы, белки скакали по веткам, а над головой сквозило синевой безоблачное небо. И хотя было ещё морозно по утрам, но уже чувствовалось всепобеждающее дыхание весны. Снега становилось заметно меньше, обнажались белёсые мхи, и уже можно было найти прошлогоднюю ягоду среди травы — бруснику и голубику. Ягоды были маленькие, сморщенные, бордового и фиолетового цвета. Но вкус у ягод был потрясающий — сладко-кислый, чуть забродивший, какой-то космический. От этих ягод кружилась голова, тело становилось невесомым, хотелось упасть среди кустов и лежать так, вдыхая невероятно странные запахи оттаивающей земли. Это был не запах цветов, и не благоухание трав, и не весенняя прель, а что-то острое, с каким-то скипидарным привкусом и, вместе с тем, пряное, кружащее голову. Запах казался неприятным, порой невыносимым, и в то же время хотелось вдыхать его всей грудью, упиться диковинной смесью, составляющей глубинную суть этой сопротивляющейся жуткому холоду земли. Мысли прояснились, становились особо чёткими и почти осязаемыми, взгляд приобретал остроту и выхватывал мельчайшие детали; все предметы в лесу, все камни, деревья, ветки и мельчайшая хвоя на земле — всё это чувствовалось самым непосредственным образом, словно было частью твоего естества, его продолжением и тайной сутью. Хотелось взять в

руки иссохшие хвоинки и растереть их в пыль; было неодолимое желание слиться с оживающей от зимней спячки землёй, стать частью этой молчаливой природы, раствориться в ней без остатка. Вся прошлая жизнь казалась ему одним пёстрым сновидением. Книги, писательские съезды, Максим Горький, революция, бравурные марши, пятилетки, всеобщий энтузиазм... Было ли это всё? Он ли писал книги о гражданской войне, о героизме простых людей, об их подвигах во имя освобождения трудящихся от гнёта помещиков и попов? Почему же теперь он здесь — на положении дикого зверя? Бредёт как лунатик по незнакомому лесу, радуется каждой ягодке и уже не думает ни о подвигах, ни о мировой революции? Как это всё произошло? И что случилось со всей страной? Быть может, власть захватили враги советской власти? Так нет же, кругом красные знамёна, пятиконечные звёзды и всё те же лозунги, какие были и двадцать лет назад. Ленина, правда, нет с нами. Но есть же Сталин! — продолжатель его дела, негибавший борец с мировым злом, вождь мирового пролетариата. Так почему же Пётр Поликарпович оказался по ту, а не по эту сторону баррикад? Почему его называют контриком и делают всё, чтобы он сгинул в этих лесах?..

Пётр Поликарпович возвращался в барак, ложился на своё место и лежал с закрытыми глазами. Перед глазами были сопки, река, бездонное небо, багровый брусничник, густой светло-зелёный мох, густо усыпанный рыжими иголками. Кажется, это так просто: взял и пошёл по этому мху, по кустам и медвежьим тропам! Будешь идти много дней и ночей без остановки! И в конце концов, придёшь куда-нибудь. Где-нибудь да будет край земли — место, где нет лагерей и колючей проволоки, где легко дышится и не нужно бояться. Думая об этом, Пётр Поликарпович едва заметно улыбался. Сосед по нарам видел эту странную игру эмоций на его лице и однажды решил спросить:

— Ты чего улыбишься?

Пётр Поликарпович открыл глаза. У соседа было вытянутое лошадиное лицо, выпуклые глаза, обтянутые серой кожей скулы. А глаза были как у волка. И всё же, Пётр Поликарпович понял, что человек этот не злой, не зверь, как некоторые. Просто он смертельно устал и болен. А ещё — он никому не верит, никого не любит. Да и кого тут любить? В лагере нет места для любви и жалости, для сострадания, даже и для задумчивости.

Пётр Поликарпович приподнялся на локте, посмотрел соседу в глаза.

— Ты тут давно? — спросил.

— Давно.

— А сам откуда?

— Из Воронежа.

— А я из Иркутска, — сказал Пётр Поликарпович и снова лёг, устремив взгляд в потолок.

Сосед помолчал.

— Я говорю, чего ты всё время улыбаешься? — уже другим голосом спросил он. — Я давно за тобой наблюдаю. О чём ты постоянно думаешь?

— Я-то? — Пётр Поликарпович скосил глаза. — Я думаю о том, как бы поскорей убраться отсюда. Мне всё это надоело. Я домой хочу.

Сосед отстранился.

— Как это – убраться. Куда?

— Да куда глаза глядят. Просто взять и уйти! Мы каждый день ходим за лагерь. А там иди в любую сторону, никто тебя не поймают.

Сосед задумался, взгляд его затуманился.

— Видно правду про тебя говорят, что у тебя с головой неладно.

— Это у вас всех с головой неладно, а у меня с головой всё в полном порядке! Если хочешь, загибайся тут, а я не собираюсь, — сказал Пётр Поликарпович и отвернулся.

Разговор на этом прервался. Сосед больше не приставал, а Пётр Поликарпович не напрашивался на разговор. Однако, в следующие дни он стал исподволь наблюдать за соседом: скажет он кому-нибудь об этом разговоре или нет? Он вполне мог заложить Петра Поликарповича, сказать бригадиру или кому-нибудь из лагерного начальства. Тайных осведомителей в любом лагере хватает. Заключение сдают друг друга за пайку, за выказанное начальством доверие, за обещание лёгкой работы и прочие штуки. И если только сосед из таких, тогда очень скоро Петра Поликарповича вызовут к оперу и станут мотать новый срок. Но если это случится, Пётр Поликарпович скажет, что он просто пошутил. А ещё лучше — ничего не помнит, был в бреду. Да и в самом деле: что это за глупости – уйти из лагеря куда глаза глядят! Так в побеге не ходят (тем более – не болтают об этом направо и налево). На этом и нужно стоять: ничего не помню, не знаю, сам не понимал, чего молот.

Однако, оправдываться ему не пришлось. Сосед никому ничего не сказал – не только начальству, но даже одноклассникам. Отношение в бригаде к Петру Поликарповичу нисколько не изменилось, им всё так же пренебрегали, считая его за пустое место. И это его устраивало. Чем меньше на него обращают внимания, тем проще будет осуществить задуманное.

Через несколько дней сосед сам подошёл к Петру Поликарповичу. Это случилось за лагерем, когда они возвращались с работы и их никто не слышал.

— Слышь, ты, — буркнул он, — так ты это правда, что ли, бежать надумал?

Пётр Поликарпович остановился, опустил мешок с хвоей на землю, неспешно огляделся.

— Ну, допустим, правда, — ответил спокойно. — А ты что, тоже хочешь уйти?

Парень с готовностью кивнул.

Пётр Поликарпович улыбнулся, обнажив крошачьи зубы.

— Ясно... Как тебя зовут?

— Николай.

— А я Пётр Поликарпович. Будем знакомы.

Он взял куль на плечо и пошёл дальше. Парень догнал его.

— Я тебя спросил, ты правда хочешь уйти из лагеря? Или попусту языком мелешь?

— Правда.

— А меня... меня возьмёшь с собой?

— Тебя?.. — Оценивающий взгляд, секундное размышление. — А что, могу и взять. Вдвоём-то оно сподручнее. — Пётр Поликарпович снова остановился. — Ты только не делись ни с кем. Ещё никому не сказал?

Парень замотал головой.

— Я чё, дурак. Я же понимаю, что об этом нельзя болтать. У нас в бригаде каждый второй к куму бегают. Я их всех знаю.

— А я, по-твоему, не бегаю? — спросил Пётр Поликарпович.

Парень осклабился.

— Не-е, ты не бегаешь. Я бы видел.

— Ну-ну. — Пётр Поликарпович взвалил мешок на плечо. — Ладно, пошли. Вместе думать будем. Тут всё не так просто. Кругом тайга на сотни километров. Нужно ещё дожидаться тепла, продуктами запастись. Хорошо бы компас иметь. Хотя, можно и без компаса. Я по солнцу умею ориентироваться.

— Что, приходилось уже бегать?

— Нет, не приходилось. Научился, когда в партизанах был. У нас там тайга почище этой будет. Такая глухомань, что не приведи господь. Месяцами плутали. А о компасах у нас и понятия не было. Обходились как-то. Белые — те плутали, это было. А нам-то что? Мы ведь все местные были, выросли в тайге, потому и победили эту белогвардейскую сволочь.

Несколько шагов прошли молча, потом парень спросил:

— Не понимаю, за что вы сюда попали. С белыми, вон, воевали в гражданскую. Ведь у вас ведь пятьдесят восьмая?

Пётр Поликарпович кивнул.

— Пятьдесят восьмая. — Вскинул голову. — А ты чего мне выкать начал? Я не такой уж и старый.

— А сколько вам?

— Сорок девять.

Парень вдруг остановился, лицо его вытянулось.

— Вот так да! А я думал, лет семьдесят уже.

— Ну ты тоже скажешь, семьдесят, — недовольно буркнул Пётр Поликарпович. — Если б мне семьдесят было, меня бы сюда не привезли.

— Тут всякие есть, — возразил парень. — Я и стариков видал, и пацанов совсем, и женщин тоже.

Пётр Поликарпович подумал секунду, но ничего не ответил.

Двенадцатилетних подростков он и сам видел в пересыльном лагере, малолеток там хватало. А стариками кажутся все побывавшие на золотом прииске. Он и сам не раз ошибался, принимая тридцатилетних мужчин за глубоких старцев. Да и в самом деле: отличить доходягу от измождённого старика практически невозможно. В больнице он видел одного такого, при росте метр восемьдесят тот весил сорок восемь килограммов. Было ему чуть

за тридцать, но можно было дать и все сто. Думали, что он помрёт, но ко всеобщему удивлению, этот человек выжил. Его выходили, и скоро он предстал пред всеми довольно приятным молодым человеком, хотя в лице его осталось что-то такое, отчего трудно было смотреть на него долго. Ну а на приисках на доходяг вовсе не обращали внимания. Пётр Поликарпович и сам был таким доходягой. Повторять этот опыт ему не хотелось. А потому он уже всерьёз стал думать о побеге.

Апрель подходил к концу, вот-вот вскроются реки и ручьи, всё вокруг зазеленеет. Две-три недели – и пожалуйста, плыви, куда хочешь. Однако, он стал понимать, что по реке далеко уйти не удастся. Ночи тут коротки, а днём его сразу засекут. Вот если пройти берегом до Мадауна и уже там сделать плот, или украсть лодку в посёлке. Но пройти по заломам и спутавшимся кустам тридцать километров было непросто. Да и заставы на каждом шагу, как их минувешь?

Но был и другой вариант. Про него он слышал зимой в больнице и сначала отнёсся недоверчиво, но теперь, поразмыслив, нашёл его вполне пригодным. А дело было вот в чём: надо было выбраться на приток Колымы и потом плыть две тысячи километров до самого Ледовитого океана — в бухту со странным названием «Амбарчик». В бухту эту, по верным сведениям, часто заходят американские и английские пароходы. И если попасть на такой пароход, да заплатить капитану золотом, тогда тебя тайком вывезут в трюме за границу. А там – свобода, гуляй – не хочу! Ни одна энкавэдешная сволочь тебя там не достанет. От этих мыслей сладко ныло внутри. Невозможное казалось возможным. Нужно было только найти приток Колымы, соорудить плот и – плыви себе, лови рыбку, собирай ягоду и грибы на нетронутых берегах. О том, что по обеим берегам Колымы густо стоят лагеря, Пётр Поликарпович старался не думать. Авось, как-нибудь и проскочишь все эти капканы! И про то, как он будет плыть на самодельном плоту две тысячи километров, он тоже размышлял как-то отстранённо. Но о том, что в «Амбарчике» стоят погранзаставы, что на рейде барражируют военные катера и что американские суда заходят сюда крайне редко – он и вовсе не знал. Хотелось верить в чудесное спасение – и он верил, несмотря на все мыслимые и немыслимые препоны.

Соседа он в эти планы не посвящал, всякий раз говоря одно и то же: уйдём в сопки, будем двигаться на юг по распадкам, пока не дойдём до моря. А там видно будет. Верил ли сосед этим обещаниям?.. Скорее всего, нет. Но помалкивал. Он догадывался, что Пётр Поликарпович что-то придумал себе на уме, да не хочет пока говорить. Быть может, у него есть знакомый пилот, который увезёт его на самолёте? Он слышал, что с материка на Колыму летают самолёты и гидропланы. Есть несколько аэродромов, запрятанных в тайге, а гидроплан — так тот прямо на воду садится – ещё удобней! И если только найдётся такой пилот, который тайком посадит их в свою крылатую машину, тогда... — дальше воображение отказывало. Представлялось что-то такое, чему не было названия – какое-то сияние, бестелесность и вечное блаженство. О том, что на всей территории Советского союза нет такого



места, где бы сбежавший заключённый чувствовал себя в безопасности — он и не думал. Улететь за границу было нельзя — у самолёта не хватит топлива, чтобы пролететь две тысячи километров хотя бы до Аляски. А если и пролетишь — ещё неизвестно, как там тебя встретят. Но все эти соображения мало тревожили помутившееся сознание. Очень трудно было убить в себе надежду, особенно, если эта надежда — последнее, что связывает тебя с жизнью.

Наступил май, но было всё ещё холодно. В низинах лежал снег, река и ручей были покрыты толстым льдом, который и не думал таять, от земли несло глубинным холодом. Пётр Поликарпович утром уходил за лагерь и каждый день ждал, что его снимут с этой лёгкой работы, вернут в бригаду и заставят кайлить оловянный камень. Сил едва хватало, чтобы вечером дотащить раздувшийся мешок с хвоей до лагерных ворот, и он со страхом думал о том, что будет, если снова придётся подниматься на гору и брать в руки ненавистное кайло. Вся одежда пришла в негодность. Острые сучья разорвали бушлат в нескольких местах, шапка потемнела от грязи, расплзшиеся ботинки были всегда мокрыми и едва держались на распухших ногах. Утром он со стоном поднимался с нар. Болели все суставы, особенно, колени и лодыжки. Казалось невозможным пройти несколько метров. Но он знал, что это пройдёт. Нужно заставить себя подняться и пойти в столовую, а потом на развод. Ноги понемногу разойдутся, слабость отступит, и он сможет за целый день набить свой мешок хвоей. И так оно и происходило. Но всякий раз ему было всё труднее выполнять норму. Временами накатывало отчаяние. Он со страхом думал о том, как он пойдёт своими больными ногами через сопки, как будет ночевать на холодной земле и чем питаться. Но гнал от себя эти мысли, потому что остаться в лагере ещё на одну зиму означало верную смерть. Это же подтвердил лагерный лепила — мрачный субъект с наколками на обеих руках и повадками уркагана. Как он попал на должность фельдшера, оставалось лишь гадать. Но понятий о медицине он не имел вовсе. В этом Пётр Поликарпович убедился во время так называемого «приёма». Поздно вечером он постучался в дверь медпункта и услышал хриплый голос:

— Кого там чёрт принёс?

Пётр Поликарпович вошёл. Внутри было холодно и грязно. Фельдшер сидел на деревянной тахте и, улыбаясь, смотрел на вошедшего. Пётр Поликарпович сразу понял, что фельдшер пьян. Тут же на грубо сколоченном столе стояла ополовиненная мензурка со спиртом, рядом — погнутая алюминиевая кружка, тут же валялись куски хлеба и ошмётки сала. На фельдшере не было ни халата, ни иных атрибутов медицинской профессии. Он густо зарос щетиной и больше походил на жуликоватого десятника, но никак не на человека, призванного избавлять ближнего от мучений.

— Ну, чего уставился? — спросил фельдшер, продолжая улыбаться. — Жрать, небось, хочешь? А я не дам. Нету! Если вас, дармоедов, кормить, так самому есть нечего будет. Ну, говори, зачем пришёл?

Пётр Поликарпович переступил с ноги на ногу. Захотелось тут же уйти. Он оглянулся на дверь и нерешительно молвил:

— Я болен. У меня сердце больное, суставы болят. Ходить тяжело.

— Ну и что?

— Дайте каких-нибудь таблеток, — упавшим голосом закончил Пётр Поликарпович. Он уже понял, что всё это бесполезно.

— Вишь ты чего, таблеток он захотел! — с деланным удивлением протянул фельдшер, приподнимаясь. — А дырна не хочешь? Какой умник — таблеток ему! Да на тебе пахать можно, а ты мне тут мозги паришь, фашист поганый. Иди отсюда, пока морду тебе не расквасил. И чтоб я тебя здесь больше не видел!

Пётр Поликарпович сделал шаг к двери.

— А если я умру?

— Туда тебе и дорога. Мало вас давит товарищ Сталин. Ну ничего, я вам устрою ударный труд, узнаете у меня, что такое советская власть!

С таким напутствием Пётр Поликарпович вышел из медпункта, в котором не было ни таблеток, ни медицинских инструментов, ни самого медицинского работника (в нормальном смысле этого слова). По мнению лагерного начальства все эти глупости были тут вовсе не нужны; лагерное начальство, даже и не читая Гоголя, исповедовало принцип его комического персонажа, по мнению которого «человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет». Но Гоголю, конечно, и не снились все эти лагерные прелести: пьяные, заросшие грязью фельдшера с наколками по всему телу, и убогие амбулатории, где из лекарств одна лишь марганцовка. Если б он всё это увидел, то вовсе бы ничего не написал, потому что шутить на эту тему нельзя.

Вот так и получилось, что надеяться Петру Поликарповичу было не на кого, кроме как на самого себя. Был бы он в родной сибирской тайге, хоть бы и в самой её глубинке — он сумел бы спастись. Как ни сурова Сибирь, но всё же не зря её величают «матушкой». В тайге вполне можно выжить, если конечно, подойти к делу с умом. Но никто никогда не называл Колыму ласковыми именами. Просто потому, что здесь не было место человеку с его слабостями и надеждами. В магаданском порту, прямо на берегу бухты Нагаево, следовало бы поставить гигантские ворота и протянуть сверху надпись: «Оставь надежду, всяк сюда входящий!». Через много лет Варлам Шаламов назовёт бухту Нагаево «причалом ада» (и будет безусловно прав). Но как известно из той же литературы: из ада иногда возвращаются. И каждый заключённый, оказавшись на Колыме, таил в душе надежду на возвращение домой — несмотря на всю гибельность и безнадёгу. Ничего другого не оставалось бедному человеку — униженному, раздавленному жуткими обстоятельствами, лишённому буквально всего, кроме самой жизни (да и та ему уже фактически не принадлежала).

Таким образом, судьба Петра Поликарповича окончательно определилась. Оставалось одно: бежать из лагеря — как можно скорее и как можно дальше. Но к побегу нужно было подготовиться: надо было запастись

продуктами, хотя бы на первое время. Нужны прочные ботинки, надо иметь с собой спички, нож, кусок брезента на случай дождя. А ещё хорошо бы запастись компасом и винтовкой. Но последнее, конечно же, было несбыточно. Винтовку сразу хватятся и пошлют в погоню целую армию. А компас – вещь, конечно, очень нужная, но где же его взять? И карту местности тоже днём с огнём не сыщешь – все карты засекречены и хранятся в железных сейфах за семью печатями. Приходилось надеяться на смекалку, на природную наблюдательность и на удачу. А ещё — на русский «авось», который иногда вывозит в трудную минуту. Или не вывозит. Это уж кому как повезёт.

В последних числах мая сосед по нарам, назвавшийся Николаем, сообщил Пётру Поликарповичу с заговорщицким видом:

— Всё, теперь можно уходить. Я уже продуктами запасся.

Пётр Поликарпович с удивлением посмотрел на него.

— Какими продуктами. Где?

Николай мотнул головой в сторону лагеря.

— На складе. Я там договорился с одним фраером.

— Договорился?.. Ты что, рассказал ему о побеге?

— Нет, конечно. Я ему денег обещал.

— Откуда у тебя деньги?

— Да так... в карты выиграл.

— Ты ещё и в карты играешь?

— Играл когда-то. Теперь, вот, пригодилось.

— Ну-ну... — молвил Пётр Поликарпович, с интересом разглядывая долговязого парня. — И что он тебе пообещал?

Николай приблизил лицо, заговорил шёпотом:

— У него на складе рыба есть – горбуша. Солёная правда, падла, но ничего, сойдёт на первое время. Хлеб обещал, сахару. Много не даст, но пару хвостов сделает, и хлеба булок пять.

Пётр Поликарпович сглотнул слюну, в глазах его вспыхнул голодный огонь.

— А сейчас нельзя у него взять? Надо бы подкормиться, чтоб силы были.

— Взять-то можно, только потом жрать нечего будет. Уж лучше с собой возьмём. Сам должен понимать.

Пётр Поликарпович кивнул.

— Да, я понимаю. — Подумал недолго и спросил: — А одежонку новую у него нельзя достать? У меня ботинки прохудились. Как я в них пойду? — И он кивнул на свою обувь. На одном ботинке подошва отстала и хлябала, другой был весь в дырах и едва держался на ноге.

Николай засопел, поджав губы.

— Да-а, в такой обуви ты далеко не уйдёшь. Ладно, что-нибудь придумаю. В крайнем случае, я тебе свои отдам.

— А сам в чём пойдёшь?

— У меня ещё одни есть. Я дал тут поносить одному. Придётся обратно забрать.

Пётр Поликарпович недоверчиво улыбнулся.

— А ты шустрый! Не знаю, что б я без тебя делал...

Николай внимательно посмотрел на Петра Поликарповича.

— Так ты уже решил? Уходим? Когда оторвёмся?

Пётр Поликарпович оглянулся. Они стояли на лесной тропе. Под ногами уже зеленела травка, кусты покрылись зеленью, и на деревьях тоже что-то такое появлялось – с прозеленью, с микроскопическими почками на тоненьких ветках. И хотя воздух был стылый, но солнце уже поднималось высоко и ощутимо грело. По всем признакам наступало лето. Пётр Поликарпович вздохнул и произнёс раздумчиво:

— Да, в общем-то, уходить можно хоть завтра. Чем скорее, тем лучше.

Николай встрепенулся.

— Ну так в чём же дело? Завтра и пойдём! Ты сам подумай: нас могут в любой момент забрать на сопку. А там охрана, и бугор смотрит в оба; оттуда уже не уйдёшь. Нужно пользоваться моментом. Ну же! Пока тепло. Решай!

Пётр Поликарпович и сам понимал, что всё может измениться в любую секунду. Прямо сейчас выйдет из кустов боец с винтовкой и поведёт их в лагерь, а там станут допытываться: о чём говорили и чего так долго стояли посреди леса, когда все вокруг заняты делом? Или подойдёт вечером бригадир и велит идти в другой барак, в бригаду забойщиков. И всё, хана! Николая больше не увидишь, и света белого тоже. А значит, и в самом деле, медлить нечего. Все планы могут рухнуть в одночасье. Бежать надо немедленно. Вот и погода установилась подходящая. Снег уже почти везде стаял, ручей освободился ото льда. Вдоль ручья они и пойдут – на север! За эти дни Пётр Поликарпович придумал кое-что новое. Сплаваться по Армани они не станут. Он уже понял, что дело это безнадежное. Да и где взять плот или лодку? Предположим, пилу ещё можно раздобыть. Но как начнёшь орудовать этой пилой в лесу – так сразу тебя и застукают. Но если даже сумеешь набрать брёвен – другая незадача: чем их крепить? Длинных гвоздей взять негде (их куют тут же, в кузнице, и все они наперечёт). Брёвна из листвяка так тяжелы, что плот из них делать бесполезно, утонешь, к чертям собачьим, и вся недолга. Вот и получалось, что уходить нужно было в сопки, где их не станут искать. Сразу же кинутся на реку, будут обшаривать берега, ставить заградительные кордоны на всём протяжении до Мадауна. А они обманут всех: пойдут вверх по ручью. Оно и удобнее. Здесь они собирают хвою, отсюда сподручнее уйти на север. Через три километра тропа раздваивается, а потом снова будет ветвиться и петлять. За несколько часов они пройдут километров двадцать – этого хватит для начала. А потом что-нибудь придумают. Главное, покинуть ненавистный лагерь. На свободе – то как хорошо! На свободе и думается совсем иначе. Мысль в лагере тоже несвободна, она как птица в клетке – лишена полёта и смелости. Но стоит убрать клетку – и птица полетит навстречу солнцу, чтобы уже никогда не вернуться.

— Хорошо, — молвил он. — Иди к своему знакомому и бери у него всё, что даст. В барак не носи, оставь где-нибудь в кустах за колючкой, а утром заберём, когда выйдём на работу. И про ботинки не забудь. Если всё сложится удачно, прямо завтра и двинем.

— Здорово! — обрадовался Николай. — А куда мы пойдём?

— Завтра всё скажу, — ответил Пётр Поликарпович. Остановился и строго глянул на парня. — Но ты смотри, ещё есть время. Я тебя не неволю. Если хочешь, оставайся. Дело рискованное, могут и пристрелить, сам знаешь.

— Да знаю я! — отмахнулся тот. — Решили, значит всё, уходим. Я тут ни за что не останусь. А ты, никак, решил меня кинуть?

— Нет, просто предупреждаю. Шансов у нас немного. Если поймают, плохо нам будет. Так что... — он не закончил, но всё и так было понятно.

Николай промолчал. Для него вопрос был решён окончательно и бесповоротно. Он не рассказал Петру Поликарповичу о том, что у него были особые отношения с уголовниками (а сам он был «бытовичком»). Однажды он вчистую проигрался в карты, использовал последний шанс — играл «на представку» — и на другой день не смог отдать картёжный долг. Уголовники без лишних слов приговорили его к смерти. И он был до сих пор жив лишь потому, что дал взятку нарядчику, и тот немедленно перевёл его в инвалидную бригаду, подальше от урок. Но всё это были временные меры. Никакая бригада, никакая больница и никакой нарядчик не могли спасти его от расправы. Счёт тут шёл на дни. Тот же нарядчик предупредил его, что к нему приходили гонцы из «индии» (так назывался барак блатных), и велели немедленно отправить беглеца к ним в барак (а не то нарядчику худо будет). А уж что там с ним сделают — этого заранее знать было нельзя. Нарядчик дал Николаю два дня на улаживание всех вопросов, а потом он выполнит требование блатных, потому что сам он тоже хочет жить, а подставляться из-за какого-то фраера ему нет никакого резона.

Николай знал, что в бараке блатных его ждёт жестокая расправа. Хорошо, если просто зарежут. А то ведь могут сделать и кое-что похуже. Защиты от этого у него не было никакой. Жаловаться начальству было бесполезно, над ним бы только посмеялись. Сил для сопротивления тоже не было (урки все с ножами, с топориками, действовали исподтишка, часто набрасывались во сне; как тут убережешься?). Оставалось лишь одно средство: побег. А ещё можно было повеситься (как это сделали трое заключённых прошлой осенью, когда их отказались отправить в больницу; все трое повесились в обеденный перерыв, перекинув верёвки через прочную балку в производственном корпусе; среди них был один умелец, который помог товарищам завязать узлы, а потом проверил, ладно ли лежит петля на шее). Но повеситься Николай всегда успеет. Нужно быть дураком, чтобы не уйти из лагеря, имея возможность каждый день выходить за его территорию. Да ещё здесь, в этих диких сопках, где нет ни души и где ни одна сволочь его не достанет! А насчёт того, что его могут поймать, так он этого не очень-то боялся (он ведь не политический, значит, будет ему поблажка). Даже если и поймают — ну, избыют для порядка, это вполне может быть. Будет следствие

и будет новый срок. Но в этот лагерь он уже не попадёт и обидчиков своих никогда не увидит. Он останется жить, а это главное. Пусть ему добавят ещё лет пять, или даже десять. Это уже не важно. Восемь лет сидеть или восемнадцать – какая разница? Всё это были сроки фантастические, не укладывающиеся в голове. А значит, можно об этом сильно не думать. Главное, пережить этот день, эту зиму и ближайшее лето. А там видно будет.

В общем и целом, выбора у него не было, и он не колебался ни секунды. Узнав о решении Петра Поликарповича бежать на следующий день, он обрадовался, хотя и не показывал вида. Как и всякий бывалый зэк, он умело скрывал свои эмоции. Вечером, вернувшись в лагерь, он сразу пошёл в дальний конец зоны, где располагался продуктовый склад, на котором отирался его кореш, которого он однажды крепко выручил. Кореш помнил об этом и согласился дать Николаю продукты просто так, в знак благодарности. Никаких денег у Николая не было, это он так сболтнул Петру Поликарповичу, чтобы долго не объясняться. Да и какая тому разница, откуда возьмется рыба и хлеб? Главное, чтоб побольше, да чтобы не застучали.

И всё у них сперва пошло отлично. Вечером Николай принёс в барак ботинки. Пётр Поликарпович примерил – ботинки были великоваты, но с двумя портянками сидели на ноге хорошо. Главное, они были крепкими и почти целыми. В таких ботинках можно было идти хоть на Северный полюс! С продуктами тоже всё было в ажуре: три рыбины горбуши, две килограммовых буханки черного хлеба и килограмм сахара – всё это Николай сложил в холщовый мешок и спрятал за территорией лагеря (сказав охраннику, что его послали за дровами в лес; тот его спокойно выпустил, потому что за дровами зэки ходили каждый день после работы). Карты местности, конечно, не было. И компаса не было. Но зато у них был топор и был большой тесак, которыми они рубили сучья стланика. А ещё у каждого был большой брезентовый мешок; его можно было использовать вместо палатки, на нём можно спать, а можно укрываться от дождя и холода. В крайнем случае, мешки можно разодрать на портянки или на одежду. В тайге всё сгодится! Но главным приобретением был большой коробок спичек на пятьсот штук. На лицевой стороне его была картинка – жёлто-синий молодец, нарисованный в старинно-лубочном духе; снизу шла надпись: «Фабрика Красная Звезда. г. Киров». Пётр Поликарпович взял в руки коробок и грустно улыбнулся. В душе поднялась целая буря чувств. Первый раз за последние четыре года он держал в руках спички. Это были посланцы внешнего мира – мира живых людей. Где-то были большие города, в которых работали фабрики и заводы, дети ходили в школу, по улицам ездили автобусы. Всё это было так близко и – бесконечно далеко. Попасть в этот мир было уже нельзя. И всё же, они попробуют. Пусть этот мир не примет их. Но оставаться здесь тоже невозможно, потому что это был мир мёртвых.

Тридцать первого мая сорок первого года на всей территории Советского союза было воскресенье – рабочие и служащий отдыхали. Но в лагерях была своя система мер и ценностей. Воскресенье в советских лагерях

давно уже было обычным рабочим днём. Да и не знал никто, какой нынче день недели. Заключённым не положены были ни календари, ни часы. Время они определяли по солнцу, делали всё по команде, по удару в рельс, по окрику бригадира или нарядчика. В шесть часов утра по всей Колыме прозвучала команда на подъём, и множество людей, проклиная судьбу, скидывали с себя обовшивевшие одеяла, поднимались с грязных нар и, поштытаясь от слабости, выходили из бараков. Однако, не все в это раннее утро хмурились и проклинали судьбу. Пётр Поликарпович почти не спал эту ночь. Всё казалось, что уже утро, светает; он порывался встать, но все кругом лежали недвижно, укрывшись с головой. За окном было темно, и он закрывал глаза и старался уснуть. Лишь перед самым подъёмом задремал, и почти сразу услышал металлические звуки ударов железякой о рельс. И сразу же поднялся. Вот оно! Пришла долгожданная минута!.. Сердце радостно забило, руки задрожали. Он стал торопливо застёгивать пуговицы на рубаше, спустил ноги на пол, а тут нежданная радость – новые ботинки! Наклонившись, долго приноравливался, затягивал шнурки, поворачивал ногу так и эдак. И всяко получалось хорошо.

Дальше всё было как обычно: столовая, утренний развод, вывод бригад на работы. Пётр Поликарпович боялся, что в последний момент их не выпустят из лагеря, завернут на сопку. От этой мысли он холодел, всматривался в каждого, кто шёл в его сторону, молил бога и чёрта, чтобы ничего такого не произошло в это солнечное утро. Только бы выйти из лагеря, только бы выбраться за ограду!..

Сосед его чувствовал что-то похожее. Он был сосредоточен, внимательно зыркал глазами из под нависших бровей. На Петра Поликарповича старался не смотреть. Но когда их построили в колонну, он встал рядом и, быстро обернувшись, коротко кивнул: мол, всё нормально. Колонна уже шла к воротам. Ещё минута, проверка по списку на вахте, и они вышли из лагеря. В бригаде было восемнадцать человек. У всех были большие мешки и самодельные тесаки. Каждый должен был набрать до обеда сто килограмм хвой, и после обеда – столько же. Метров пятьсот шли все вместе по широкой тропе. Потом стали рассредоточиваться, уходить влево и вправо. Пётр Поликарпович с напарником тянули до последнего, стараясь уйти как можно дальше. И это им удалось. Уже на границе леса, там, где начинались каменные россыпи, они, наконец, остановились. Бригадир показал на чахлые деревья, растущие во обеим берегам ручья и пошёл обратно. Ему и в голову не могло прийти, что эти двое задумали побег. Он прекрасно видел, что у них нет ни провизии, ни всего того, что потребуется в тайге. Но провизия была надёжно спрятана недалеко от лагеря, под густым мхом. А всё остальное было при них – спички, мешковина, одежда и тесак с топором.

Они спокойно проработали до обеда. Солнце встало в зенит, сделалось тепло и необычно светло, небо словно бы раздвинулось, стало бездонным, от него непривычно веяло теплом. Пётр Поликарпович часто поднимал голову и всматривался в голубую бездну. Николай в такие минуты бросал на него

недовольные взгляды, но молчал. Кроме них двоих тут никого не было, стало быть, никто ничего не заподозрит.

Набрав по полному мешку хвои, они вернулись к месту сбора. Сдали свою добычу, съели обед, сидя за сколоченным из не оструганных досок столом, полежали в сторонке на травке, а потом поднялись и пошли по тропе в лес. Зайдя за деревья, Николай огляделся и шагнул в чащу. Через минуту вышел с холщовым мешком в руке, быстро спрятал в свой куль, и они двинулись дальше.

— Ну всё, теперь можно уходить, — проговорил он вполголоса. — До вечера нас не хватятся. Нужно уйти как можно дальше. Давай-ка поднажмём!

И они поднажали. За полчаса дошли до каменной россыпи. Тропа тут змеилась по открытому месту, но они пошли смело, держа кули за плечами, как бы спеша по делу. Здесь никого не было, и они спокойно прошли ещё два километра, пока снова не начался лес. Пётр Поликарпович стал уставать. Тропа была очень неровная, вся в камнях и в кочках. Приходилось прыгать и петлять. Но он не отставал. А Николай шёл не оглядываясь, будто сто раз тут ходил. Так они дошли до развилки. Справа был мостик через ручей, а слева крутой подъём по камням в гору. Николай остановился, снял мешок с плеча.

— Ну что, куда пойдём?

Пётр Поликарпович подумал с минуту. Потом уверенно произнёс:

— Нужно идти в горы. Нас станут искать по ручью. А тут, — он поднял голову и посмотрел вверх, — тут такое раздолье! Тут мы затеряемся, пойдёшь!

Николай согласно кивнул.

— Хорошо.

Поднял мешок и полез по камням вверх.

Подниматься по крутому склону было очень тяжело. С непривычки ноги тряслись, в глазах темнело. Но останавливаться было нельзя — на голом склоне они были хорошо видны за несколько километров. Надо было перевалить через сопку и побыстрее уходить как можно дальше. Но горы эти, издали казавшиеся не очень высокими, на поверку оказались настоящими громадами. Склон всё время осыпался, идти прямо было невозможно, приходилось петлять, а это страшно замедляло движение. Целый час они поднимались в гору, высота которой не превышала полукилометра. Наверху стало полегче, но там пошли заросли стланика, да такого, что не продраться. Пришлось обходить. Они шли длинной дугой вдоль густой поросли, ошестинившейся колючками. Под ногами был мягкий густой мох причудливой расцветки — от тёмно зелёного до бело-голубого. А ягод не было вовсе (хотя брусничник тут имелся). Ещё через час они обогнули заросли и вдруг увидели далеко внизу голубой овал озера. Зрелище было необычное, яркое и невероятно красивое. Странно было видеть тут воду — среди голых сопки, в полнейшей тишине. Словно кто-то взял и вылил сюда кристально чистую воду, да так и оставил на века. Озеро было довольно большое — километра два в длину и километр в ширину. Склоны гор круто спускались к воде, а гладь была как стекло — насыщенного синего цвета. И



никакого движения вокруг. Ни птица вспорхнёт, ни рыба вильнёт хвостом. Озеро казалось мёртвым и холодным.

Пётр Поликарпович поглядел на спутника. Тот стоял, тяжело дыша, и пристально смотрел на воду. Заметно было, что он тоже вымотался.

— Пойдём вниз? — полуутвердительно произнёс Пётр Поликарпович.

Спутник помолчал, потом ответил.

— Пошли. Надо привал сделать, а то ноги гудят.

И они стали спускаться к воде. Вошли в заросли стланика и долго продирались сквозь ветки, пока не увидели берег в нескольких метрах.

— Надо ещё немного пройти, — предложил Николай.

— Да, конечно...

Уже темнело. В это время они обычно возвращались с работы. Их вот-вот хватятся. Пошлют погоню. Далеко ли они ушли?

Пётр Поликарпович и так считал, и эдак, но всякий раз выходило, что недалеко. Километров десять, не больше. По тропе они прошли километров семь. В гору поднимались ещё километр. На горе километр и к озеру спускались столько же. Всего-то и прошли десять километров. А сил потратили уйму. Как же они дальше пойдут такими темпами?

Но думать об этом уже не было сил. Хотелось лишь одного – опуститься на землю, вытянуть усталые ноги и неподвижно лежать, закрыв глаза и ни о чём не думая.

Они нашли укромное место среди кустов. Сверху их было не видеть, и с озера тоже не заметишь. Густая зелень надёжно скрывала их от преследователей.

Николай вытащил из мешка припасы – рыбу и хлеб. Быстро порезал тесаком горбушу, разломил буханку хлеба. Вода была тут же, в нескольких метрах.

Ели молча, торопливо. Хотя торопиться было некуда – до утра они уже не двинутся с места. Попили ледяной воды. Потом стали устраиваться на ночлег. Костёр разводить не стали – дым могли заметить. Решили перетерпеть одну ночь. С наступлением темноты температура резко упала, от воды несло промозглым холодом, да и земля была заморожена до самой глубины. Они споро нарубили зелёных веток и настлали на землю. Растянули сверху один мешок, а другим укрылись. Плотно прижались друг к другу и почти сразу же уснули.

Ночь прошла спокойно. Они всё ждали, что послышится треск, из кустов выскочат солдаты с винтовками, станут орать и драться. Но никто не выскочил. Это казалось странным, неправдоподобным, но всё было тихо. От воды поднимался туман, а за горой по небу разливался розовый свет, где-то там, на востоке, всходило солнце.

Они живо поднялись, собрали мешки и, даже не испив водицы, пошли дальше по берегу. Им повезло, что их не схватили в первую же ночь. Но теперь они должны уйти как можно дальше. Лишь тогда у них был шанс на спасение.

Однако, движение снова замедлилось. Идти по открытому берегу было опасно, и они с трудом продирались сквозь кусты проклятого стланика; вместо тридцати минут потратили три часа, пока обходили озеро. Дальше нужно было подниматься на сопку, переваливать через неё, и так далее, и так далее – всё сопки, всё не хоженные тропы, густой мягкий мох, непроходимый стланик, камни и простор, от которого захватывает дух.

— А куда мы идём? — вдруг спросил Николай, когда они поднялись на гору и остановились перевести дух.

— Пойдём на северо-запад. Тут где-то проходит Тенькинская трасса. Будем держаться возле неё. А не то заплутаем, к чёрту. Сам видишь, какая тут глушь. Надо поближе к людям.

— К людям поближе? — Николай недоверчиво посмотрел на него. — Где ты тут людей нашёл? Тут одни лагеря кругом. А по трассе военные ездят. Мигом скрутят. Нет, я так не согласен!

— Да я же не предлагаю прямо на дорогу выходить! Будем продвигаться повдоль. Если повезёт, машину захватим, продуктами разживёмся. Мало ли тут ротозеев. Ты водить-то хоть умеешь?

Николай подумал чуть, потом сказал.

— Если понадобится, смогу. Да только бесполезно всё это. По трассе нам не уйти. Нужно аэродром искать, в Америку лететь.

Пётр Поликарпович улыбнулся.

— В Америку, говоришь. Что ж, мысль неплохая. Да только нету тут аэродромов. Ближайший – в Магадане. А там полно охраны. Сразу же пристрелят.

— Ну тогда на север пойдём, до Усть-Омчуга. Там большой посёлок. Вольные живут. Дома большие. Можно на чердаках прятаться. Продуктами разживёмся.

Пётр Поликарпович кивнул.

— А что, тоже дело. Мне говорили, там река есть, впадает прямо в Колыму. Построим плот или лодку найдём, и поплывём по Колыме до самого ледовитого океана. Будем рыбу ловить. За месяц доплывём. Всё-таки не ногами идти.

— А чего нам там делать? — изумился Николай.

— Есть там бухта одна, Амбарчик называется. Туда суда разные заходят. Американцы бывают. Если попасть на такое судно, то можно уйти за границу. Смекаешь?

Николай несколько раз моргнул.

— За границу, говоришь... — Протяжно вздохнул. — Да я-то не против. Только вряд ли мы туда доберёмся. Экая даль! Не доплывём. — И он решительно помотал головой.

— Ну, об этом пока рано говорить, — ответил Пётр Поликарпович. — Для начала нужно от лагеря уйти подальше. А там посмотрим.

И они стали спускаться по безлесному склону, осторожно ступая меж камней и осыпающихся ям.

За этот день они прошли пятнадцать километров. Оба выбились из сил и едва не падали от усталости. Небо было ясное, воздух прозрачный, видно так далеко, насколько хватало зрения. Но все эти виды, это синее небо, эти однообразные сопки – уже порядком надоели. Оба понимали, что сколько не иди – всё будут эти однообразные горы, скудная растительность, студёный ветер, слепящее солнце, камни и мох под ногами, будет ощущение нарастающей тревоги, когда каждую секунду ждёшь катастрофу: вот-вот покажется на склоне отряд красноармейцев! И уже не хватит сил уйти от них. Налетят собаки, станут рвать живое мясо клочьями.

Но не было собак, и не видать было красноармейцев. Расчёт Петра Поликарповича оказался верен. Их искали вдоль ручья, проскочив мимо едва заметного отворота к озеру. И по берегам Армани тоже отправили погоню. Там и здесь преследователи дошли до последнего предела: первые прошагали до истока ручья, не найдя там никаких следов. А вторые допёрлись до Мадауна, а там их встретили смешочками и язвительными советами не считать ворон, а лучше посмотреть за «контингентом». Стало ясно, что ни в верховьях ключа, ни в Мадауне беглецов не было, проскочить мимо посёлка они никак бы не смогли. Тогда стали проверять весь лагерь, решив, что заключённые могли спрятаться в промзоне, или в горной выработке (такие случаи уже бывали). Всё это сыграло на руку беглецам. Они смогли за несколько дней уйти так далеко, что никакая погоня из лагеря им была уже не страшна. Теперь их могли поймать лишь случайно, в силу того непреложного факта, что вся эта местность была испещрена лагерями, ОЛП и «командировками», что день и ночь по Тенькинской трассе сновали ЗИСы всех модификаций, и что местное население – простодушные эвены, юкагиры и тунгусы – имели обыкновение вылавливать беглецов и передавать их властям – за пуд муки, за ведро сахара и просто за спасибо.

Тенькинская трасса оказалась даже ближе, чем ожидалось. Беглецы вышли на неё в районе сто первого километра. Здесь, на ручье Правый Итрикан, была небольшая дорожная командировка – стоял барак и рядом небольшой квадратный домик. В бараке жили заключённые, работавшие на трассе. Домик был предназначен для охраны. Пётр Поликарпович и его спутник довольно долго рассматривали трассу и снующие по ней машины и решили, что высовываться им нет никакого смысла. И хотя продуктов у них почти не осталось, и на подножный корм рассчитывать было нельзя – ни грибов, ни ягод об эту пору ещё не было, — они решили идти дальше на север, в надежде на какой-нибудь случай.

Однако, передвигаться было всё трудней. У Петра Поликарповича распухли и болели все суставы. Каждое утро он со страхом думал, что не сможет подняться и сделать хотя бы шаг. Но он поднимался и шёл, думая лишь о том, как бы не упасть. Николай поглядывал на него с тревогой. Он видел его мучения и понимал, что далеко они не уйдут. До Усть-Омчуга было почти сто километров – это если идти по прямой. А они передвигались по сопкам, по бурелому, по камням и ямам. По всякому выходило, что в посёлок они придут недели через две – это если найдут какой-нибудь

провиант. От рыбы оставались одни лишь головы, было ещё немного хлеба и сахару – на пару дней. Что они будут делать, когда и хлеба не будет, они не знали. Но упрямо шли вперёд, пробирались по осыпающимся склонам, шагали по камням, среди кустов, по песку и глине; лакали словно звери ледяную воду из ручьёв, спали на земле, даже не разводя огня на ночь.

Так прошло ещё три дня. Они сумели добраться до следующей дорожной командировки – на сто сорок третьем километре. Тут стояло несколько барачных, и заключённых было погуще. И Николай решил идти на разведку. Оставив Петра Поликарповича среди зарослей стланика, он двинулся к баракам. Пётр Поликарпович остался ждать. Он решил, что если его товарища схватят, то пусть берут и его. Один он дальше не пойдёт.

Но Николая не схватили. Через несколько часов он вернулся. В каждой руке у него было по буханке ржаного хлеба.

Пётр Поликарпович ахнул.

— Да как же ты?

Николай довольно усмехнулся.

— Да так вот, захожу в барак. Там дневальный. Уставился на меня. «Чего надо?». Я ему, дай пожрать чего-нибудь. Седьмой день не жрали! Ну и рассказал всё, как было.

— Да ты что? — изумился Пётр Поликарпович. — Зачем же ты это?

— Да он никому не скажет. Если бы хотел, он бы меня прямо там и повязал. А он хлеба мне дал, махорки насыпал. И до сих пор всё тихо. — И он показал на бараки, где не было заметно никакого движения.

Пётр Поликарпович подумал секунду, потом спросил:

— А он про наш побег ничего не слышно?

— Ну как же. Были у них бойцы с собаками, в бараках шмонали.

Наказали сообщить, если чего заметят. Пока мы в сопках бродили, тут на трассе каждый день машины с солдатами ездили. Только вчера и успокоилось. Видно, не ждут нас уже тут.

— Это хорошо, — со вздохом произнёс Пётр Поликарпович. — А до Усть-Омчуга далеко, ты не спрашивал?

— Нет, это нельзя. Спросишь, а он потом сболтнёт кому-нибудь. Я сказал, что мы обратно в сопки пойдём, подальше от трассы.

Пётр Поликарпович кивнул.

— Это ты правильно сделал.

Они поели хлеба с сахаром, запили водой и пошли дальше. Это был уже десятый день побега. Их искали и в сопках, и на трассе, и в окрестностях лагеря. Впрочем, большого ажиотажа не было. С наступлением лета заключённые бежали из всех лагерей, и почти всех ловили (кроме тех, что умирали сами – от холода, от бескормицы или от медведей, которых тут было полно). Те машины с солдатами, про которые говорил ему дневальный, искали не только их, но и других беглецов. Для охранников это было своего рода развлечение – прокатиться по трассе, пробежаться по сопкам, стрелкнуть по кустам, если померещится. Они понимали, что беглецы никуда не денутся. Рано или поздно их найдут, или они найдутся сами – чумазые,

вконец истощённые, оборванные, обовшивевшие. Их даже бить не станут — кому охота марать о них руки? Или сразу пристрелят, или бросят в ледяной карцер, из которого они уже не выйдут. Редко кто из беглецов доживал до следствия. Таких были единицы.

Что-то такое уже начинал понимать и Пётр Поликарпович. Силы его слабели, неизбежно слабела и воля. Сопки казались бесконечными. У него дух захватывало, когда с какой-нибудь горы открывалась бесконечная перспектива, этот марсианский пейзаж — волнообразный, пропадающий в темнеющих далях, раскинувшихся на тысячи километров во все стороны. Там, за далями, был ледовитый океан, вобравший в себя весь холод мира. Там было полное безлюдье, и там не было никакой жизни. Станным казалось, что именно туда и нужно им идти, что спасение в царстве холода, а не среди живых людей, не там, где движение и жизнь, где светит солнце и дует тёплый ветер. Всё труднее было бороться с искушением выйти на трассу и сдать первому же патрулю — пусть что хотят, то и делают. Но он понимал, что это была верная смерть. Пока есть силы, нужно двигаться. И они продолжали свой путь на север.

Хлеба хватило ещё на три дня. Сахар кончился на вторые сутки. Крепко посолённые рыбные головы они ели с особым тщанием: подолгу сосали жабры и всё, что было у рыб в голове, перемалывали остатками зубов кости и хрящи. Потом вовсе не стало никакой пищи, и они шли, пошатываясь по извилистой тропе, уже ни на что не надеясь, ничего хорошего не ожидая. А когда уже сил не осталось, они набрали на прошлогодний брусничник — тёмно-зелёный ковёр с бордовыми бусинками сплошь покрывал оттаявшую землю. Несколько часов они с жадностью ели прошлогоднюю ягоду — крупную, сморщенную и такую кислую, что сводило челюсти и резало живот. На время удалось перебить сосущий голод. Но по-настоящему насытиться ягодой было нельзя. Нужна нормальная пища — хлеб, мясо, картошка, — а этого как раз и не было. И не было надежды достать что-нибудь съестное. Пётр Поликарпович уже понял, что далеко они не уйдут и до Усть-Омчуга не доберутся. Ему уже не хотелось никуда идти, неудержимо тянуло свалиться на землю и лежать без движения. Все помыслы и все мечты растворились в этой каменистой почве, в невесомом воздухе, в безбрежных далях. Чтобы мечтать и строить планы, нужны силы и отменное здоровье. А когда ни того ни другого уже не остаётся, тогда жизнь не мила, и человеку вообще ничего не нужно.

Как бы там ни было, а они продолжали свой путь на север вдоль извилистой Тенькинской трассы. На двадцать первый день они вышли на довольно широкую каменистую речку Нерючи, на левом берегу которой рос и ширился новый посёлок со странным названием Усть-Хиниканджа — всё те же бараки, те же сопки вокруг, та же дичь и глушь. Перед самым посёлком была развилка; основная трасса стремилась на север, а налево под прямым углом уходила грунтовая дорога — к прииску имени Марины Расковой. В той же стороне был и рудник Хениканджа, и множество мелких командировок и лагпунктов. Это было тупиковое направление — во всех

смыслах этого слова. Все дороги и тропы в эту сторону или упирались в лагерные ворота, или в горные выработки, или просто сходили на нет, незаметно растворяясь в голых сопках, среди чахлого кустарника, в каменных россыпях. Оба беглеца смутно почувствовали это, как зверь чувствует западню. Они молча переглянулись и кивнули друг другу. Всё было понятно и без слов – нужно идти дальше на север. Но тут возникло затруднение: Пётр Поликарпович уже не мог передвигаться. Он стёр ноги в кровь, и каждый шаг был для него сущей пыткой. К тому же, он застудился на холодной земле и сильно кашлял. У него была температура и сознание уплывало; временами он терял ощущение действительности, не понимал, что с ним и где он находится. Нужно было остановиться хотя бы на день, дать отдых вконец измученному телу, подлечить ноги, одуматься, осмотреться как следует. Спутник его всё это видел. Он и сам не прочь был отдохнуть, потому что у него тоже болели все суставы, а в глазах темнело от слабости. Он тоже понимал, что далеко они не уйдут.

Делать нечего, пришлось остановиться. Они устроили подобие шалаша в густом кустарнике недалеко от трассы. На землю бросили заляпанный грязью брезентовый куль, и Пётр Поликарпович без сил повалился на него, вытянул ноги и закрыл глаза. Сверху пригревало солнце, ветерок навевал острые запахи оттаявшей земли, и было так тихо, так тихо, что звенело в ушах, а в теле возникала странная лёгкость. Казалось, что земля плывёт под ним, и он несётся, падает вместе с ней в бездонную пустоту. Это было пугающее, но и чем-то приятное чувство отрешённости, какой-то бесплотности. Николай посмотрел сверху на Петра Поликарповича, на его искажившееся в блаженной гримасе лицо с глубоко запавшими глазницами, заросшее густой щетиной и почерневшее от грязи, и молча отвернулся. Он понимал, что сам выглядит не лучше. И ещё он понимал, что любой ценой должен достать хлеба. Если хлеба не будет, то им обоим хана. Шумно выдохнув, он решительно двинулся в сторону чёрнеющих вдали бараков.

Вернулся он уже ночью, при свете звёзд. Пётр Поликарпович с беспокойством вглядывался во тьму, кутаясь в тряпки и дрожа всем телом. Послышался звук осыпающихся шагов, треск сучьев, и вдруг на фоне звёзд возник силуэт человека.

— Что, заждался? Думал, не приду? — воскликнул он, приближаясь.

Пётр Поликарпович перевёл дух.

— Ну... слава тебе, господи. Принёс что-нибудь пожрать?

— Принёс. На вот, пожуй. — И он протянул горбушку хлеба. — Это я на кухне тяпнул. Чуть не попался. Больше туда идти нельзя.

Пётр Поликарпович уже жевал чёрствый хлеб, кровавая дёсны и чувствуя солоноватый привкус собственной крови.

— Да ты не торопись, — заметил Николай. — Спешить нам теперь некуда. Всё равно до утра будем сидеть тут.

— А утром что? — спросил Пётр Поликарпович.

— Придётся уходить. Здесь опасно оставаться. Я там сильно наследил. Будут искать, это как пить дать.

Пётр Поликарпович задумчиво жевал хлеб.

— Сейчас бы чаю горячего, да в тёплую постель, — проговорил, глядя в темноту. — Кажется, лежал бы так целую неделю, пальцем бы не пошевелил.

— Належишься ещё, — мрачно пообещал Николай. — Оглянулся по сторонам и молвил: — Ладно, спать будем. Утро, говорят, вечера мудренее. — Он опустил на землю, запахнулся брезентом и сразу же затих.

Пётр Поликарпович доел хлеб, высыпал в рот крошки и повернулся на бок, укрылся брезентухой. Стало чуть теплей, спокойней на душе. До утра всё равно уже ничего не случится. Он закрыл глаза, и земля под ним поплыла. Засыпая, он думал о том, что лучше бы ему вообще не просыпаться. Жизнь прожита. Что мог, он уже совершил. А будущее — что в нём? Ничего хорошего у него уже не будет. Прошлого не вернуть, он никогда не будет прежним.

Да, это было бы лучшим вариантом — уснуть, и не больше уж не просыпаться. Пусть другие работают не покладая рук, верят в светлые идеалы, добиваются поставленной цели. У него больше не было идеалов — ни светлых, ни тёмных. Никаких. И работать он больше не может. Последнюю охотку ему напрочь отбили в лагере. Работу он теперь ненавидел всей душой, считал её худшим наказанием, тяжким крестом, от которого нужно бежать. И никаких целей для себя он больше придумать не мог. Ни целей и ни смыслов. Для чего же ему жить? Этого он и сам не знал. Но утро пришло в свой черёд, солнце поднялось как и положено — на востоке. Небо посветлело, скрюченные перекорёженные деревья закачались, зашумели... наступил новый день — двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого года. Где-то далеко на западе, за десять тысяч километров от Тенькинской трассы, уже поднялись в воздух самолёты с чёрными крестами на крыльях, уже двинулись к советской границе армады танков, пошли колонны новоявленных «арийцев» — жечь и убивать, обращать чуждые им народы в свою веру, в которой не было ни Бога, ни заповедей, ни сочувствия, а было чувство собственного превосходства и была ненависть ко всем «недочеловекам». Там, на западных границах СССР, начиналась битва вселенского масштаба. А здесь, на безжизненном колымском нагорье, стояла вековая тишина. Никакой самолёт не смог бы сюда долететь. И никакая «арийская» рожь сюда бы не сунулась. И всё же, начавшаяся война оказала на весь этот край самое непосредственное воздействие, потому что всё в этом мире взаимосвязано, переплетено тысячью незримых нитей; дёрни за одну — и всё остальное закачается, придёт в движение. На Колыме не было войны, не рвались снаряды, и танки не утюжили эту землю. Но люди гибли здесь массово — от непосильного труда и от усилившегося голода. И без того скудное снабжение "Дальстроя" было резко сокращено, при этом были сняты всякие ограничения на продолжительность рабочего дня. Теперь можно было заставлять обессиленных заключённых работать по 16 часов в сутки, вовсе не предоставляя выходных. Не выполнявших норму обвиняли в саботаже и тут же расстреливали. На Колыме действовали законы военного времени — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Всё это было впереди.

В этот переломный для всей страны (и для всего человечества) день, Пётр Поликарпович и его спутник прошли по сопкам ещё пять километров – на это ушёл весь день. Шли они очень медленно, часто останавливаясь. Пётр Поликарпович несколько раз оступался и падал, после чего не сразу мог подняться. Спутник помогал ему, но и он ослабел и сам едва держался на ногах. Наконец, они остановились на проплешине между кустов стланика. Место было сухое, закрытое со всех сторон. Тут же оказался брусничник. Николай набрал ягоды в жестяную банку. Налил воды и поставил на костерок греться. Потом они по очереди пили из банки вскипевшую воду с ягодами и мелкими листочками. Ничего другого у них не было. И не было надежды раздобыть съестное. Когда они укладывались спать, Пётр Поликарпович произнёс ровным голосом:

— Я дальше не пойду. Здесь останусь. А ты иди. Не смотри на меня. У тебя ещё есть силы, дойдёшь.

Николай обернулся, глянул в темноте на товарища.

— Как же это? Ведь мы вместе решили идти!

— Ну... решили. Что ж с того? Если ноги не идут, что я сделаю? Нечего и мучиться.

— А я как?

— А ты действуй по плану. Дойдёшь до Усть-Омчуга, а там смотри сам – или лодку раздобудь или плот сооруди. И плыви себе по реке. Не ошибёшься, прямо в Колыму и приплывёшь. Удочку себе сделай из ивы, в общем, разберёшься, не маленький. А моя песенка спета. Отвоевался. Всё. Баста.

Николай подумал минуту, обвёл хмурым взглядом окрестный пейзаж, потом спросил.

— А ты что будешь делать?

— Я пока полежу тут. Отсыпь мне спичек немного. Буду ягоду собирать, ночью костерок сварганю. Протяну какое-то время.

— А потом?

— Ну что ты заладил? Откуда я знаю, что потом? Что-нибудь придумаю. В крайнем случае, подохну. Подумаешь, какое дело. Лучше уж здесь помереть, чем в карцере загнуться. Так-то, браток.

— Не-е, я без тебя никуда не пойду, — уверенно произнёс Николай. — Это у тебя от голода такие мысли. Завтра я раздобуду жратвы, тогда и порешим. Ладно?

— Ладно, — ответил Пётр Поликарпович. Спорить он не хотел, поскольку всё уже решил для себя.

Утром спозаранку Николай ушёл на поиски пищи, а Пётр Поликарпович остался лежать на полянке среди кустов. Так он провёл целый день, то проваливаясь в зыбкий сон, то пробуждаясь. День был солнечный, тихий – самый длинный, самый светлый день в году. На западных границах уже грохотало и стреляло, с неба сыпались бомбы, по мирным полям ехали колонны мотоциклистов, по просёлкам шли солдаты вермахта с закатанными рукавами, а тут всё было тихо, как в первый день творения.



Днём Николай не вернулся. Не пришёл он и ночью. Наступило следующее утро, а его всё не было. Пётр Поликарпович уже смирился с мыслью, что он не придёт, как вдруг тот вышел из колючих кустов, встал по стойке смирно и крикнул, пуча глаза:

— Война началась!

Пётр Поликарпович вздрогнул от неожиданности. С трудом приподнялся на локтях.

— Какая война? Ты чего мелешь?

— Гитлер на нас напал, уже второй день бомбят западные границы. Я в посёлке узнал. Там чёрт те что творится!

— погоди! Ты ничего не перепутал? Немцы на нас напали?

— Ну-да, я же говорю! В Магадан по телеграфу ещё вчера сообщили, теперь во все лагеря депешки шлют. Вчера вечером и здесь получили. Боятся, что Япония высадит десант, они ведь с Гитлером заодно. Там теперь такая кутерьма, никто не знает, что делать.

— Как это не знает? — встрепнулся Пётр Поликарпович. — Воевать надо! Чего тут думать?

Николай усмехнулся.

— Скажешь тоже, воевать. Кто тут будет воевать? Здесь одни доходяги. Ты сам, вон, на ладан дышишь. А тоже туда – воевать!

Пётр Поликарпович решительно поднялся, выражение лица его вмиг переменялось.

— А ты мне дай винтовку, и увидишь, как я буду воевать. Это ничего, что я малость прихворнул. Я ещё поправлюсь, ещё пригожусь своей родине! — Он постоял с минуту, разглядывая посёлок, потом уверенно произнёс: — Всё, пошли.

— Куда? — опешил Николай.

Пётр Поликарпович махнул рукой вперёд:

— Туда.

— Да ты что? Нас же там повяжут!

— Ну и пусть! Скажем, что сами пришли, хотим на фронт, в передовые части. Пусть нас отправят на передовую. Не посмеют отказать.

Николай задумался. Такая перспектива была ему явно не по душе. Не то, чтобы он не хотел идти на фронт, а просто не верил, что побег так легко сойдёт им с рук. С другой стороны, если случилась война, то ведь должно что-нибудь измениться? Если Гитлер буром пойдёт, а тут ещё Япония вступит, и если наступит всеобщий хаос – что тогда? А тогда придётся выпустить из лагерей всех заключённых, дать им винтовки и отправить на фронт – защищать родину. Но до этого пока что далеко. Пока ещё ничего не ясно. А значит, торопиться не следует.

— Ты вот что, — сказал он, опустив голову, — не очень-то спеши. Нужно повременить.

— Да чего временить-то? — волновался Пётр Поликарпович. — Чего мы будем сидеть в кустах? Там люди кровь проливают, а мы отсиживаться

будем? Нет, я к этому не привык. Никогда не прятался за спины товарищей. И сейчас не стану.

— Ну хорошо, хорошо, я согласен, — сказал Николай, поморщившись. — Но сдаваться тоже надо с умом. Ты что, так прямо в посёлок и придёшь? И что ты скажешь?

— Так и скажу: на фронт хочу, родину защищать... — начал было Пётр Поликарпович, да и остановился. И в самом деле, всё было не так просто. Это ведь на кого нарвёшься. Попадёт какой-нибудь обалдуй, ещё неизвестно, как дело обернётся. Могут и шлёпнуть.

— В Усть-Омчуг надо пробираться, — быстро заговорил Николай. — Там комендатура, начальство разное. Нужно к самому главному начальнику попасть, чтоб он знал, что мы сами пришли. А то эти дуболомы так дело обставят, будто это они нас поймали. Им за это отпуск дают, и пайку добавляют. Уж я знаю.

Пётр Поликарпович призадумался. Николай был прав. Но как попасть в Усть-Омчуг? До него ещё километров тридцать, а то и все пятьдесят. Ему столько не пройти. А что если?.. Он поднял голову и с надеждой посмотрел на товарища.

— Слушай, мы вот что сделаем. Выйдем на трассу и остановим "эмку". В "эмках" завсегда начальство ездит. Вот они и довезут нас прямо до комендатуры. А уж там мы всё расскажем, как есть. Только чур не врать и ничего не придумывать. Мы ведь ничего такого не сделали. Никого не убили и ничего не украли из лагеря. Побег — да, был, с этим спорить нечего. А про всё остальное будем говорить, как было на самом деле. И главное, нужно им втолковать, чтоб на фронт нас отправили. В любое — самое опасное место. Не может быть, чтобы нас не послушали!

Николай стиснул зубы и некоторое время стоял, раздумывая. Потом сказал:

— Ладно, чёрт с тобой. Уговорил.

Пётр Поликарпович поднял с земли мешковину, стряхнул с неё иголки и аккуратно свернул. Пошарил глазами по поляне — возле потухшего костерка стояла жестяная банка с остатками брусничного отвара. Он поднял банку и выплёснул остатки в траву.

Они выбрались из кустов и двинулись к трассе; шли так, чтобы их не заметили из проходивших машин. Те проезжали время от времени, вздымая тучи пыли; почти все были грузовики, какие с пустым кузовом, а какие с ящиками и с тюками. А рядом с водителем всегда сидел вооружённый солдат.

— Надо поближе подойти, — сказал Николай, останавливаясь.

Пётр Поликарпович посмотрел на дорогу. До неё было метров сто открытого пространства. Укрыться было негде. Разве что — залечь в траву прямо под насыпью...

И в этот момент вдали показалась чёрная точка в облаке пыли.

— Никак легковушка? — воскликнул Николай, вытягивая шею. — Точно! С километр будет. — Вопросительно глянул на Петра Поликарповича. — Ну что, идём?

Тот быстро кивнул.

— Пошли.

Они выдрались из кустов и быстрым шагом двинулись к трассе, Николай впереди, Пётр Поликарпович поспевал за ним. Через минуту они были уже на обочине, смотрели, как приближается чёрный автомобиль. Да, это была "эмка", машина начальников и высших чинов. Простые солдаты в ней не ездят.

Николай решительно шагнул на середину дороги, поднял руку.

Его заметили. Машина стала притормаживать, взяла влево и остановилась в клубах пыли. Распахнулась передняя правая дверца, из салона вышел военный — в хромовых сапогах и гимнастёрке, перепоясанный ремнями с кабурой и с офицерским планшетом на боку. В петлицах — по два красных кубаря. Он ловко выхватил наган и громко крикнул:

— Кто такие? Чего шлёпаетесь тут?

Николай быстро оглянулся на Петра Поликарповича и уверенно ответил:

— Беглые мы. Сдаваться идём в Усть-Омчуг. Добровольно. На фронт желаем попасть, родину защищать.

— Беглые, говорите? — военный оглядел обоих с ног до головы. — А откуда вы? Из какого лагеря?

— С Арманской обогатительной фабрики.

— Ах, вон вы откуда, голубчики. Ну-ну. Давненько вас ищут. — И он сделал знак сидевшим в машине. Оттуда сразу же вылез ещё один военный, тоже в гимнастёрке и с наганом.

— А ну-ка подняли оба руки! — скомандовал тот, приближаясь.

Беглецы исполнили приказание.

Военный подошёл сзади, обхлопал их с боков, обошёл кругом и объявил:

— Нет ничего. А провоняли-то оба, фу, дышать нечем! Я их в машину не пушу. Ещё не хватало!

Пётр Поликарпович с укором глянул на него.

— Мы не дойдём до Усть-Омчуга. Пожалуйста, возьмите нас.

Военный решительно помотал головой.

— Ждите здесь. Я за вами конвой отправлю.

— Зачем конвой, мы же сами вышли!

— Так положено! — отрезал военный. — Вы, вон, лагерь без разрешения покинули. А за это знаете, что бывает?

— Знаем.

— То-то и оно. Благодарите бога, что не попались вы своей вохре. Они был из вас отбивную сделали и собакам кинули. Две недели по сопкам их гоняли, чертей.

Пётр Поликарпович всё смотрел на военного, словно пытался взглядом передать то, чего не мог объяснить на словах.

— Товарищ капитан, — начал было он.

— Какой я тебе товарищ? — вскинулся тот.

— Ну хорошо, гражданин... вы же видели, мы сами на трассу вышли. Мы про войну услышали, немцы на нас напали. Мы на фронт хотим попроситься. Кровью смоём вину перед родиной!

Военный усмехнулся. Обернулся к товарищу.

— Ишь, чего захотели. На фронт захотели. Тоже мне, вояки. — Бросил быстрый взгляд на беглецов и заключил: — Ладно, разберёмся. В машину я вас посадить не могу, да и места там нет для двоих. Оставить просто так тоже не имею права. Сделаем так: сейчас тут кто-нибудь поедет мимо, вот он вас и доставит, куда следует.

— Только не обратно в лагерь! — подал голос Николай.

— Это уж мы сами разберёмся, в лагерь или ещё куда.

Пётр Поликарпович промолчал. Он понимал, что обратно на фабрику их уже не вернут. Оба военных были не из лагерной администрации. Они или из Магадана, или из местного управления.

Он не ошибся: оба офицера служили в Усть-Омчуге, где располагалось Тенькинское горно-промышленное управление. Здесь, в долинах рек Омчак, Детрин, Иганджа, Дусканья и Кулу – были открыты в тридцать восьмом богатейшие россыпи золота. Теперь, три года спустя, весь этот край был усеян лагерями, изрезан дорогами, заставлен военными постами. Это была золотая лихорадка по-сталински. Тут не было джекклондоновских героев с упряжками из северных лаек и с мужественным сердцем в груди. Не было и взаимовыручки, смелости, благородства. Золото здесь добывали (и в огромных количествах) – полуживые люди, вовсе не помышлявшие о золоте и не мечтавшие о севере, не желавшие этого золота, ненавидевшие его всей душой. Оба офицера тоже не помышляли о золоте, но они были тут по велению долга, по приказу высокого начальства, распоряжения которого не обсуждались. Они получали здесь двойную зарплату и усиленный северный паёк, пользовались всеми возможными благами и осуществляли полноту власти, какая только возможна в этом диком краю. Вот и на этот раз всё разрешилось предельно просто: один из военных остановил проезжавший мимо грузовик и приказал шофёру посадить в кузов обоих беглецов. Сопровождавшему грузовик бойцу он дал записку и велел ему ехать вместе с заключёнными в кузове, не спуская с них глаз. Тот воспринял этот приказ как и подобает советскому воину. Глаза его грозно сверкнули, он снял с плеча винтовку и передёрнул затвор. Командиры остались довольны таким рвением и посчитали дело решённым.

Петра Поликарповича и его товарища усадили возле самой кабины, охранник с винтовкой наперевес сел у заднего борта. Один из офицеров подал знак, и машина покатила по направлению к Усть-Омчугу. Был ясный солнечный день. Даль была видна на десятки километров, ни облачка на синем небосводе! Всё это происходило двадцать пятого июня сорок первого года. Шёл четвёртый день Великой отечественной войны.

Ехать пришлось недолго – через сорок минут машина въехала в посёлок, предварительно переехав деревянный мост через реку. Пётр Поликарпович

во все глаза смотрел на открывшуюся панораму. Ему казалось, что у него двоится в глазах – посёлок, равнина и окружающие его горы были почти такими же, как и в Ягодном, и в Мадауне, и в Атке. Трудно было поверить, что все эти места удалены друг от друга на сотни километров. Однако, поверить пришлось. Машина свернула с трассы и въехала в посёлок, поехала по улице Комсомольской. Проехали мимо котельной с чёрной трубой, миновали пять стоящих в ряд каменных двухэтажных зданий, столовую, магазин, баню, почту, амбулаторию, бревенчатое здание горного управления, потом снова пошли дома – каменные и деревянные, вполне приличные и барачного типа. Машина ехала ходко, вздымая пыль и грохоча. Последовал поворот направо, Пётр Поликарпович успел увидеть указатель: «ул. Заречная». Дорога пошла под уклон, впереди показалась река. Через пять минут машина повернула налево, проехала метров сто и остановилась. Шофёр заглушил мотор и хлопнул дверкой.

Охранник встал, разминая ноги. Навел винтовку на заключённых и скомандовал:

— Сойти на землю! При попытке к бегству стреляю без предупреждения.

Николай взялся за борт и, толкнувшись двумя ногами, ловко спрыгнул. Пётр Поликарпович поднял голову и увидел деревянный забор и лагерные ворота, над которыми висела надпись, сделанная крупными буквами: «ОЛП Комендантский». Хотелось спросить, зачем их сюда привезли, но он знал, что ответа не получит. Все ответы были в той бумажке, которую вручил бойцу офицер. Пётр Поликарпович не без труда спустился по колесу на землю и стал рядом с товарищем. Тот затравленно озирался. Пётр Поликарпович понял, что он уже жалеет, что поддался на его уговоры. Сил у Николая было ещё достаточно, он мог бы далеко уйти. Но теперь поздно было раскаиваться: сделанного не воротишь.

Боец передал беглецов местному конвою и тут же забыл про них. Начальник караула долго изучал записку с предписанием, потом поднял взгляд на стоявших перед ним заключённых.

— Фамилия, срок, статья, откуда бежали?..

Пётр Поликарпович и его спутник объяснили, как могли.

— А сюда зачем шли?

Пётр Поликарпович переступил с ноги на ногу.

— Гражданин начальник, я сильно болен, не могу работать. Думал, что тут есть больница. Подлечиться хотел.

— Понятно. А второй что, тоже больной? — И он грозно сверкнул очами.

Николай поднял голову, губы его дрогнули, но он сдержался и ничего не ответил.

— Так, — начальник караула поджал губы, — в изолятор обоих. — Повернулся к стоявшему поодаль конвоиру: — Кузнецов, води их. Скажешь Лоншакову, что я распорядился.

Снова Пётр Поликарпович и Николай шли под конвоем. Оба едва волочили ноги, хотелось поскорей куда-нибудь прийти и больше уже не двигаться. Пётр Поликарпович даже согласен был остаться в этом лагере до конца срока. Сразу было видно, что это не прииск, и не обогатительная фабрика. Тут не было грохочущих механизмов, не видно было карьеров и не слышно ругани, какая бывает на золотодобыче. Вдали сверкала на полуденном солнце полноводная речка, горел золотыми искрами впадающий в неё ручей. Ещё дальше были видны покрытые зеленью горы. В самом лагере текла размеренная жизнь. Заключённые были на работах, в лагере оставались лишь местные кадры – повара, каптёры, дневальные и прочие привилегированные личности. Изредка они попадались им навстречу, при этом местные с любопытством глядели на оборванных и зачуханых беглецов, а те, в свою очередь, с завистью глядели на нормально одетых и уверенных в себе обитателей этого чудного места.

Конвоир завёл их в длинный барак и сдал дежурившему там бойцу. Тот, ничего не спрашивая, взял ключи и отпер одну из пустовавших камер по левой стороне длинного узкого коридора.

— Заходите, — качнул подбородком.

Пётр Поликарпович и Николай зашли в камеру. Дверь за ними захлопнулась, стало тихо. Они осмотрелись. Камера была вполне приличная, хотя и маленькая. Справа стояла полувагонка на два лежака, слева такая же. Против двери у окна – маленький столик и табуретка. В углу возле двери – параша в виде деревянного ведра с крышкой. Окно небольшое, забранное решёткой. За окном виднелся двухметровый забор с колючей проволокой. Перед забором колыхалась от ветра трава. Всё было по-домашнему тихо и спокойно. Они переглянулись.

— Что дальше? — спросил Николай.

— Увидим, — ответил Пётр Поликарпович. Шагнул к вагонке и тяжело опустился на доски. — Спать хочу, — произнёс, опуская отяжелевшую голову.

— А я бы пожрал чего-нибудь, — отозвался Николай. — До завтра ведь ничего не дадут. Знаю я их порядки.

— Это точно, — кивнул Пётр Поликарпович и осторожно лёг на тощий матрас, подсовывая под голову небольшую подушечку.

— А неплохо тут, — сказал Николай. — Я и не знал, что бывают такие лагеря. Это ж надо так назвать – комендантский. Вроде комендантской роты, что ли? — и он с усмешкой посмотрел на товарища. Но тот уже закрыл глаза и не слушал. Николай постоял несколько секунд, потом сел на койку напротив. — Да-а, — протянул, — набегались!

Пётр Поликарпович уже спал. Лицо его подёргивалось, щёки обвисли, из глотки вырывалось прерывистое дыхание. Николаю вдруг стало жаль его. Он вспомнил, как этот уже немолодой человек, шёл по камням и крутым склонам, как блестели в лихорадке его глаза и тряслись от слабости руки, как он стучал зубами от холода ночь напролёт, но ни разу не пожаловался на трудности, ни разу не выругался и не сказал ему ни одного обидного слова. И

он понял, что все эти дни рядом с ним был необыкновенный человек – мужественный, мудрый и непреклонный. Это ничего, что он зарос щетиной и больше на зверя, чем на человека. На самом деле, он больше человек, чем все те, кого Николай знал до сих пор. Если бы их доставить сюда, да прогнать по всем этим кругам ада – что б тогда с ними стало? На кого бы они теперь были похожи?.. Вот и получалось, что лучших людей в своей жизни он встретил здесь, на Колыме. И сидят эти люди словно звери в клетках. И сам он точно такой же зверь, которого ловят и травят. А за что? Этого он до сих пор так и не понял.

С этими мыслями он стащил с себя грязные ботинки и лёг на плоский лежак, вытянул усталые ноги. Он был доволен уж тем, что всё ещё жив, что его не поймали и не пристрелили во время побега, что не избили при поимке, и теперь они сидят в нормальной камере, а не в ледяном погребе, как это обычно и бывает с беглецами. А что там будет дальше, он не загадывал, потому что давно понял: ничего заранее знать нельзя. Колыма – это такое место, где не действует обычная логика и где не писаны нормальные человеческие законы. Закон тут один: каждый сам за себя! Здесь первыми погибают самые совестливые, самые праведные. А выживают наглые, жестокие и бездушные. Почему это так, он не знал. Но вполне в этом убедился, уверовал в непреложность такого положения. Засыпая, он видел перед собой серо-зелёные сопки и синее небо над ними, видел лесную тропу среди мхов и камней, густой кустарник, изогнутые стволы лиственниц и – свои ноги, идущие по тропе. И он всё шёл и шёл – непонятно куда, неизвестно – зачем...

Утром им выдали завтрак – по миске баланды и по трёхсотке хлеба. Всё это было вмиг съедено. Затем их повели в баню под конвоем. Там они задержались на два часа. Местный парикмахер, плюясь и матерясь, состриг с них грязные спутавшиеся волосы; всё это вместе с провонявшей одеждой было отправлено в печь. Сама баня показалась им каким-то чудом: было вдоволь горячей воды, было мыло и даже была мочалка; банщик их особо не торопил. Все уже знали, что в лагерь привезли беглецов, и оказывали им соответствующее уважение (хоть бы и через силу). Пётр Поликарпович постарался вымыться как следует – по несколько раз мылил голову и грудь, тёр вихоткой мосластые ноги, стараясь не разбередить язвы на ступнях и щиколотках. Суставы на ногах были распухшие и сильно болели, но горячая вода оказала своё благотворное действие; суставы словно бы размягчились и обрели подвижность. Это было восхитительное чувство!

На выходе из моечной им выдали новые кальсоны и нательное бельё, ватные штаны, гимнастёрки и бушлаты, ботинки с портянками и шапки. Всё это, конечно, было уже ношенное, но чистое, без вшей. Было так приятно надеть на распаренное тело чистое бельё – после трёх недель шастанья по грязи и спанья на голой земле.

И вот в таком обновлённом виде они предстали пред светлые очи следователя из Усть-Омчуга – лейтенанта Попова. Это был молодой человек среднего роста, с худощавым лицом, с зачёсанными назад волосами и

высоким лбом, нос его почему-то смотрел на сторону, а глаза были пристальные, немигающие. Увидев его, Пётр Поликарпович подумал, что в другой обстановке он бы подружился с этим человеком, особенно ему понравился взгляд – внимательный, испытующий, и, как будто, не злой. Была надежда, что это не садист, не служака, а вполне нормальный человек, честно исполняющий свой служебный долг.

Но на поверку всё оказалось не так благостно.

После обычных вопросов и заполнения формуляра, лейтенант оторвал взгляд от бумаг и спросил ровным голосом:

— Ну а теперь расскажите, с какой целью вы хотели проникнуть в ряды Красной армии. Советую говорить правду. Мы ведь всё равно узнаем.

Пётр Поликарпович в первую секунду не нашёлся, что сказать. Вопрос показался ему настолько нелепым, что он растерялся.

— Мы хотели идти воевать с фашистами, — пробормотал неуверенно.

— Так-так, — следовательно неприязненно посмотрел на него. — Если бы вы хотели воевать, так не бегали бы от советской власти. Целый месяц за вами гонялись, столько людей от дела оторвали.

— Но ведь мы же сами пришли. Как только узнали, что война началась, так сразу и вышли на трассу.

Лейтенант посмотрел в бумаги.

— А у меня в деле записано, что вас задержали на сто шестьдесят первом километре тенькинской трассы в составе группы из двух человек. Вот и докладная есть за подписью капитана Ахметшина. Тут сказано, что вы скрытно передвигались вдоль трассы, но благодаря проявленной бдительности были замечены и задержаны. Что вы на это скажете?

— Да не так всё было! — заволновался Пётр Поликарпович. — Спросите у моего товарища. Мы ещё накануне, когда узнали, что началась война, решили идти сдаваться, а потом проситься на фронт. Зачем бы мы тогда выходили на дорогу?

Лейтенант криво улыбнулся.

— По-вашему выходит, что капитан Ахметшин всё это придумал? А ведь он не один в машине ехал. С ним был лейтенант Черниговский, а ещё водитель – рядовой Кулик. Все они подтверждают факт поимки. Кому мне верить – военному служащему Красной армии или беглому зэку, контрику, уже не раз обманывавшему советскую власть?

Пётр Поликарпович устало опустил голову.

— Делайте что хотите, но я говорю правду.

В таком духе допрос продолжался несколько часов. Лейтенант всё допытывался: с какой целью два врага советской власти хотели попасть на передовую. Он упорно подводил к логичному для него выводу: оба беглеца хотели перейти на сторону врага и довершить таким образом своё чёрное дело. Всё сводилось к одному: враги советской власти никак не угомонятся и упорно ищут средства для её свержения. Представился удобный случай, и они сразу же решили перейти на сторону врага, предать свою родину и всё, что дорого и свято.



Пётр Поликарпович поначалу спорил и оправдывался, но потом увидел, что его слова не оказывают никакого действия, и замолчал. А когда следователь предложил ему подписать протокол допроса, в котором он отвечал утвердительно на все провокационные вопросы, он решительно отказался, заявив, что не станет подписывать себе смертный приговор. Следователь согласно кивнул, словно ожидал такой ответ, и приказал увести заключённого.

Вечером уже, когда с допроса привели Николая, они сидели в камере на нарах друг напротив друга и вполголоса разговаривали. Николай выглядел особенно удручённым.

— Зря я тебя послушал, — говорил он с досадой. — Говорил ведь, не надо сдаваться. Поверил тебе.

Пётр Поликарпович и хотел бы утешить товарища, да нечем было.

— Ничего, разберутся, — произнёс со вздохом.

— Как же, — подхватил Николай, — выпишут тебе семь грамм свинца, и все дела. Мне следак сразу так и сказал, что по законам военного времени нас обоих пустят в расход, если только мы не признаемся.

— В чём признаемся?

— Что хотели устроить диверсию, а потом перейти на сторону врага, выдать секреты.

— Какие ещё секреты? Ведь мы ничего не знаем. — И Пётр Поликарпович обвёл взглядом унылые стены.

— Следователь так сказал. Ему виднее.

Пётр Поликарпович улыбнулся.

— Ну ты сам подумай, если мы признаемся, что хотели перейти на сторону врага — так нас ещё вернее расстреляют! Им дело нужно раздуть, а на нас им наплевать. Ведь их самих могут на фронт отправить. А так они докажут, что заняты важным делом. Раскрыли заговор, предотвратили диверсию. Ну? Чего ты? Ведь всё же ясно. Нам надо стоять на своём, говорить всё как было. Нам нечего скрывать. Побег был, спорить нечего. Ну и что? Из лагеря многие бегут. А мы-то ведь сами сдались. Вот и пусть думают. Я не собираюсь наговаривать на себя всякий вздор.

Это был их последний разговор. На следующий день Николай с допроса не вернулся. Следуя служебным инструкциям, следователь развёл их по разным камерам. Однако, это не принесло желаемого результата. Оба подследственных стояли на своём: ничего плохого не замыслили, на сторону врага переходить и не думали, а на трассу вышли сами. Следователь с удовольствием применил бы к ним меры физического воздействия, но с некоторых пор все эти дела не поощрялись, и он ограничился простым запугиванием, тем более, что тут всё было очевидно и особо стараться не было нужды. Об этом он и сказал на очередном допросе Петру Поликарповичу:

— Ты пойми, дурья башка, — говорил он человеку, годящемуся ему в отцы, — семь грамм тебе уже обеспечены! По законам военного времени побег приравнивается к саботажу. Ты самовольно покинул лагерь, причинив

ущерб и поставив под угрозу выполнение производственного плана. За такие дела и в мирное время ставили к стенке, а сейчас тем более. — И он сокрушённо вздыхал, всем видом показывая неизбежность кровавой развязки.

— Да ведь я не на основном производстве был, — возражал Пётр Поликарпович. — Я работал в инвалидной бригаде, на сборе хвои. У меня инвалидность есть — третья группа. Как же я мог поставить под угрозу выполнение плана?

— Вот видишь? — подхватывал следователь, нимало не смутившись. — Тебе поверили, сняли тебя с прииска и отправили в настоящую больницу, там тебя поставили на ноги и предложили исполнять самую лёгкую работу, разрешили тебе бесконвойно выходить за лагерь, а ты не оправдал доверие, подло всех обманул, заставил бегать за собой. И товарища своего совратил с пути истинного. Он ведь не образованный, университетов как ты не кончал. А ты запудрил ему мозги, внушил ему ложные идеалы, несовместимые с нашей советской действительностью. А теперь не хочешь разоружиться. Плохо всё это. Очень плохо. — Он смотрел на Петра Поликарповича немигающим взглядом, лицо его суровело и темнело, и он добавлял уже твёрже, напористее: — Для тебя плохо, в первую очередь! — и тыкал пальцем в грудь подследственного.

Подобные разговоры — в той или иной вариации — повторялись несколько раз. Следователь склонял Петра Поликарповича к признанию несуществующей вины, а тот, в ответ, приводил очевидные доводы против нелепых обвинений. Но главного пункта он опровергнуть не мог. Те два военных, что подобрали их на трассе, оба утверждали, что это они поймали беглых заключённых, а не сами они сдались. Если б только удалось убедить следователя, что они сами вышли на трассу, то это не только бы коренным образом изменило ситуацию, но избавило бы их от смертного приговора, который нависал над ними с крепнущей неотвратимостью. Но у следователя была бумажка, собственноручно подписанная двумя офицерами НКВД, и эта бумажка была пронумерована и подшита в следственное дело. Никаких очных ставок не предвиделось и быть не могло. Искать этих офицеров и дополнительно опрашивать также никто не собирался. Да и что бы они сказали нового? В их ответах сомневаться не приходилось.

В первых числах июля следователь зачитал Петру Поликарповичу обвинительное заключение. Там было сказано среди прочего: «Работая на обогатительной фабрике № 6 ТГПУ, откуда в целях сознательного уклонения от исполнения установленного режима в ИТЛ НКВД и с целью отказов от работ для умышленного ослабления деятельности Дальстроя 31 мая 1941 года с места работы совершил групповой побег. Принятыми мерами розыска 26 июня 1941 года на 161 километре Тенькинской трассы задержан». Также там было сказано, что он «работал плохо, от работы укрывался под видом болезни, настроен антисоветски».

Пётр Поликарпович снова попытался объяснить. Он говорил, что и в мыслях не держал «умышленное ослабление Дальстроя», и что он никогда не

был настроен антисоветски, наоборот, он желает принести своей родине пользу, согласен отдать жизнь за неё, пусть его отправят на фронт, и тогда он покажет, как он умеет воевать с врагами советской власти и как любит свой народ! Лучше геройская смерть в окопах, чем позорный расстрел здесь, в лагере, с клеймом предателя и врага народа, которым он никогда не был.

Пётр Поликарпович говорил так искренно, как только мог, понимая, что речь идёт о его жизни. Он был очень убедителен и в высшей степени красноречив. Но для следователя это ничего не значило.

— Я основываюсь на фактах, — говорил тот равнодушно. — А факты — это, как вам должно быть известно, упрямая вещь! — И он снисходительно улыбался, как бы говоря: я тоже образованный, умею ввернуть умное словцо. — Так вот, согласно неопровержимым фактам, имеет место групповой побег, повлёкший за собой отвлечение значительных сил личного состава спецвойск. Вы с подельником не вернулись обратно в лагерь, из которого бежали, а направлялись в противоположную сторону. Ваши голословные утверждения о намерении попасть на фронт не вызывают никакого доверия. К тому же, да будет тебе известно: пятьдесят восьмую статью в действующую армию не принимают. Даже если бы и не было побега, всё равно с тобой никто бы и говорить не стал. Ну ты сам посуди: какой тебе фронт? Сам же сказал, что у тебя инвалидность, вон, еле на ногах стоишь. А всё туда же — воевать собрался! В общем, дело ясное. Саботаж в чистом виде. Будешь теперь на суде рассказывать свои сказки. Там тебе объяснят права и обязанности. Ну так что, будешь расписываться в ознакомлении?

Пётр Поликарпович взял перьевую ручку, обмакнул её в чернильницу-непроливашку и размашисто написал внизу листа: «С обвинением не согласен. Прошу немедленно отправить меня на фронт рядовым. Обещаю кровью искупить свою вину перед родной советской властью!». Поставил подпись и расписался.

Следователь взял лист и, прищурившись, стал читать. Целую минуту он вглядывался в неровно выведенные буквы, потом отстранил бумагу и произнёс с сарказмом:

— Вон как ты запел. Ну-ну.

Спрятал бумагу в папку и завязал тесёмки. Сел за стол и положил руки перед собой.

Пётр Поликарпович выждал некоторое время, потом спросил.

— Куда нас теперь, в Магадан повезут?

Следователь пожал плечами.

— Это вряд ли. Здесь будете дожидаться выездного трибунала.

Пётр Поликарпович вздрогнул.

— Какого трибунала? Ведь мы же не военные!

— Вы-то не военные, да время нынче военное. Думать надо было, прежде чем в бега подаваться.

— Так ведь не было войны, когда мы в побег ушли. Это ведь когда было! А война только недавно началась. Мы же не знали, что война начнётся!

— Знали, не знали... это уже не важно. Двадцать второго июня на всей территории Советского союза введено военное положение, указ номер двадцать девять. Этим же указом военным трибуналам на всей территории передаются на рассмотрение дела о государственных преступлениях. А у вас с подельником статья пятьдесят восемь пункт четырнадцатый – саботаж. Приравняется к преступлению против государства. Ничего не поделаешь. Придётся отвечать по всей строгости.

— Да какой же это саботаж? Ведь у нас побег. Мы ведь не повредили ничего на производстве, и с собой ничего не взяли.

— Как же не взяли? А нож и топор, — это разве не хищение государственного имущества?

— Ну хорошо, пусть будет хищение, но причём тут саботаж? Ведь мы знаем, что это совсем другое.

— Другое или нет, это вы будете военному прокурору втолковывать. А я следствие закончил и передаю его в канцелярию. — Вышел из-за стола и открыл дверь в коридор. — Малышев, забирай.

Пётр Поликарпович взял руки за спину и, опустив голову, пошёл вон из кабинета.

Его вернули в ту же камеру, где он провёл последнюю неделю. Туда же через полчаса завели и Николая. Следствие было закончено, все протоколы подписаны, обвинительное заключение утверждено. Теперь не было нужды держать подследственных порознь. Судьба их уже была решена, хоть они и не догадывались об этом.

В этой камере они прожили целый месяц. Их кормили три раза в день – всё той же баландой и чёрным хлебом. Раз в десять дней водили в баню. А на работу не водили вовсе. Рабочих рук в лагере хватало и без них. К тому же лагерное начальство опасалось нарушить инструкцию, которая запрещала использовать подследственных на любых работах, предписывая им безвылазно сидеть под бдительной охраной. Обычно на эти запреты не обращали внимания и распоряжались подследственными всяк по своему усмотрению, насколько у начальства хватало фантазии. Но теперь была война, действовало военное положение, и лагерное начальство решило не рисковать. Мало ли что! В любую минуту приедет трибунал и потребует подследственных. А их нету! (А то ещё снова сбегут!). Как бы и самому под трибунал не угодить. Каждый день следовали всё новые указы, распоряжения, инструкции – одна грознее другой.

Вот и сидели в душной камере Пётр Поликарпович и его товарищ. В эти июльские дни немецкие дивизии уверенно продвигались в глубь советской территории. Уже были захвачены Латвия и Эстония, Литва и Белоруссия, враг приближался к Киеву и Одессе, Смоленску и Ленинграду, Туле и Ростову-на-Дону; и уже совсем рядом была Москва. В гигантских котлах под Минском и Киевом, Брестом и Харьковом оказывались сотни тысяч красноармейцев; все они попадали в плен, так и не начав по-настоящему воевать. Огромная страна вдруг оказалась на краю гибели. Уже шла массовая эвакуация в глубокий тыл заводов и предприятий, уже вставали под ружьё

миллионы добровольцев – вместо убитых и захваченных в плен. А здесь, на Колыме, как и во всём ГУЛАГе, продолжали сидеть за колючей проволокой сотни тысяч ни в чём не повинных людей; их охраняли вооружённые до зубов дивизии, составленные из молодых, полных сил мужчин, которых так не хватало на фронте! Почти все заключённые (исключая уголовников), просились на фронт, и все они получали отказ. Защищать родину от врагов предложили уголовникам. Но те посчитали это дело весьма рискованным, и в подавляющем большинстве отказались от этой чести. Да и в самом деле: зачем рисковать своей драгоценной жизнью, когда в лагере они чувствовали себя как дома: на общих работах их использовали лишь в исключительных случаях, жрали он от пуза, ночи напролёт играли в карты и без всякого стеснения резали фразеров. Политикой они не интересовались вовсе, а «контриков» люто ненавидели (и эта ненависть находила глубокое сочувствие у лагерной администрации). Их истинной родиной была тюрьма, вместо морали у них были «понятия», а уважали они одну лишь грубую силу. Образования они не имели никакого, многие не могли даже толком расписаться. Но именно они были «друзьями народа», а не академик Вавилов, не конструктор Королёв, не поэт Мандельштам, не маршалы Блюхер и Тухачевский, не тысячи других талантливых инженеров, военачальников, учёных, экономистов, рабочих, колхозников и просто порядочных, трудолюбивых людей. Так решил низколобый диктатор с замашками садиста, злопамятностью слона и повадками беспринципного интригана. Потому и сидели взаперти Пётр Поликарпович и его товарищ в ожидании смертного приговора, в то время когда они должны были быть на фронте, должны были защищать свою землю от жестокого врага.

Так и досидели они до того момента, когда в лагерь прибыли члены военного трибунала – председатель с непроницаемым лицом и молоденькая секретарша. Оба в военной форме, оба важные и полные ощущения собственной значимости. Кроме них должны были быть заседатели, но этих каждый раз добирали на месте; обычно это был начальник лагеря и его заместитель по оперативной работе. Суд состоялся двадцать шестого августа и занял совсем немного времени. Всего было десять подсудимых, на рассмотрение дела каждого уходило не более пяти минут. Когда вызвали Петра Поликарповича, он спокойно вошёл в кабинет, где за обычным столом, накрытым красным сукном, сидело трое военных. Чуть в стороне, за отдельным столиком сидела секретарша. Она что-то писала в бумагах и даже не посмотрела на вошедшего.

Председательствующий взял со стола следственное дело и стал листать с равнодушным видом. Дело было тоненькое, не больше десяти страниц. Дойдя до последней и прочитав обвинительное заключение следователя, председатель поднял голову и спросил равнодушно:

- Петров Пётр Поликарпович, девяносто второго года рождения?
- Да, это я.
- Признаёте себя виновным в инкриминируемых вам деяниях?

— Никак нет, не признаю. — Пётр Поликарпович глухо кашлянул. — Я там написал своё просьбу. Прошу отправить меня на передовую, буду защищать социалистическую родину от фашистов.

Председатель внимательно посмотрел ему в лицо, и оба военных тоже посмотрели. Даже секретарша оторвалась от своих бумаг и как-то сбоку глянула на подсудимого.

Председатель повёл головой вправо-влево, потом молвил деревянным голосом:

— Как же мы можем вам верить, если вы уже совершили побег из лагеря. Вы и с передовой точно так же убежите. Красной армии не нужны перебежчики.

— Я не перебежчик! — тут же возразил Пётр Поликарпович. — Я воевал за советскую власть в гражданскую, имею наградное оружие. Я и теперь могу принести пользу. Прошу поверить мне. Клянусь всем, что мне дорого, я оправдаю ваше доверие, кровью смою позор и заслужу прощение!

На лицах военных показались кривые улыбочки, только секретарша не улыбалась, уткнулась в свои бумаги.

— Вы нам вот что скажите, — снова спросил председатель. — Вы не отрицаете сам факт побега?

— Нет, не отрицаю. Побег был, но это было ещё до объявления войны...

— Хорошо-хорошо, — перебил председатель. — А факт хищения орудий производства признаёте?

— Я взял с собой нож, которым работал, а мой товарищ — топор. Нельзя же в тайге без оружия. Там медведи ходят. И вообще...

— Понятно, — кивнул председатель. — А зачем вы направлялись в Усть-Омчуг? Если следовать вашей логике, вы должны были направиться в Магадан, поближе к порту.

Пётр Поликарпович задумался. Он не совсем понял, почему они должны были идти в Магадан за двести километров, но переспрашивать не стал.

— Мы как узнали, что война началась, так сразу решили сдаться. Увидели машину и вышли на трассу. Ведь мы же сами сдались.

— Вот как? А в деле сказано, что вы были задержаны на сто шестьдесят первом километре тенькинской трассы. Вот, страница восьмая, тут и докладная есть за подписью капитана Ахметшина и лейтенанта Черниговского. Кому же я должен верить?

Пётр Поликарпович понурил голову.

— Я говорю правду.

Председатель поочерёдно посмотрел на заседателей, сидевших слева и справа от него.

— Какие будут вопросы?

— Да какие там вопросы, — отмахнулся один.

— Всё ясно, — молвил второй.

Председатель снова посмотрел на Петра Поликарповича.

— Можете идти. Решение вам объявят.

Пётр Поликарпович с беспокойством оглянулся.

— Но как же? Почему не сейчас?

— Мы после рассмотрим. Таков порядок.

К нему уже приближался конвоир. Не дожидаясь, когда он возьмёт его за плечо, Пётр Поликарпович повернулся и пошёл к двери.

Когда он вышел в коридор, заметил сбоку Николая, его подняли со скамьи и повели в зал заседания. Пётр Поликарпович кивнул ему, желая приободрить. Но тот вряд ли его понял. Лицо его было нахмурено, взгляд сосредоточен. Как видно, он не ждал от трибунала ничего хорошего.

Два часа спустя, когда Пётр Поликарпович и Николай были уже в своей камере, дверь распахнулась и на пороге показался конвоир, в руках у него были две бумажки.

— Вот, держите, — произнёс с угрюмым видом.

Пётр Поликарпович и Николай одновременно поднялись.

— Это что? — спросил Пётр Поликарпович прерывающимся голосом.

— Выписки из приговора. Велели вам передать. Ну что, будете брать?

Николай опомнился первый, шагнул к конвоиру и взял у него две бумажки, каждая из которых была размером в пол листа ученической тетради. Подал одну Петру Поликарповичу, вторую стал жадно читать.

Пётр Поликарпович поднёс листок к глазам.

На желтоватой бумаге в синюю клетку был отпечатан текст — едва различимая третья копия, отпечатанная через копирку. Текст гласил:

«Выписка из приговора выездной сессии  
Военного трибунала войск НКВД ИТЛ Дальстроя  
от 26 августа 1941 г. по делу № 059

Материалами предварительного и судебного следствия установлено, что подсудимый Петров Пётр Поликарпович, будучи враждебно настроенным к советской власти, работая на обогатительной фабрике № 6 ТГПУ, откуда в целях сознательного уклонения от исполнения установленного режима в ИТЛ НКВД и с целью отказов от работ для умышленного ослабления деятельности Дальстроя, совершил групповой побег 31 мая 1941 года. Во время пребывания на обогатительной фабрике работал плохо, настроен антисоветски. Принятыми мерами розыска 26 июня 1941 года на 161 километре Тенькинской трассы задержан. Руководствуясь Указом Президиума СССР «О военном положении» № 29 от 22.06.1941 г. выездная сессия Военного Трибунала ПРИГОВОРИЛА: Петрова Петра Поликарповича на основании ст. 58-14 "б" УК СССР приговорить к высшей мере наказания — расстрелу.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Военном Трибунале ИТЛ Дальстрой в течение 72 часов с момента вручения копии приговора осужденному.

Выписка верна.

Секретарь Военного трибунала войск НКВД

Антонова.»

Пётр Поликарпович опустил руку, листок дрожал в закорючливых пальцах. Он силился что-нибудь сказать, но горло перехватила судорога. По телу разливалась предательская слабость, он чувствовал, что вот-вот упадёт.

— Вот сволочи, десятку накинута! — услышал он возглас Николая. Тот со злостью смотрел в бумагу, по лицу ходили желваки. — Говорил я тебе...

Пётр Поликарпович лишь жалко улыбнулся.

— А у тебя что, тоже десятка? — спросил Николай, оборачиваясь. — Ну-ка, дай сюда!

Он взял из бесчувственных пальцев выписку и стал читать. По мере чтения лицо его напрягалось, каменело, наливалось кровью.

— Да что ж они сволочи делают, а! — воскликнул он. — Они что, совсем ополумели?

— Ну ты это, потише тут ори, — внушительно произнёс конвоир. — Будешь возникать, доложу куда следует. Давайте сюда выписки.

— Ну вот ещё, — запротестовал Николай. — Я её себе оставлю, я законы знаю!

— Да зачем она тебе? — нахмурился конвоир. — Следователь велел забрать их у вас и принести ему.

— Вот пусть идёт и сам забирает, — отрезал Николай и посмотрел на Петра Поликарповича: — верно я говорю?

Но тот остался безучастным. Приговор оглушил его, лишил воли к сопротивлению. Словно бы он оказался в безвоздушном пространстве, и всё происходящее его уже не касается. Горячность Николая казалась ему нелепой, не нужной. Он уже не хотел ничего — ни спорить, ни доказывать свою правоту. Всё ему стало глубоко безразлично. Хотелось лечь на койку, отвернуться к стенке, закрыть глаза и ничего не видеть и не слышать.

Он сделал шаг и медленно опустился на нары, повернулся на бок, лицом к стене. Николай что-то говорил ему — Пётр Поликарпович не слушал. Тело его вдруг стало невесомым, он смежил веки и словно бы поплыл в тёплых волнах. Николай взял его за руку, потянул легонько, потом отпустил. Глянул вопросительно на конвоира, тот лишь пожал плечами.

— Вот до чего человека довели, — произнёс с угрозой.

Конвоир лишь хмыкнул.

— Ну что, отдашь выписку или начальника звать?

Николай протянул ему свой листок.

— На, бери. А его выписку не получишь. Скажи лейтенанту, пусть сам придёт. И бумагу пускай прихватит. Мы будем жалобу писать. Так и скажи.

Конвоир ушёл, а Николай сел на нары и стал пристально смотреть на Петра Поликарповича. Тот лежал не шевелясь, даже дыхания было не слышать. Николаю стало жутко. Наклонившись, он прислушался. Различив слабое дыхание, выпрямился и глубоко вздохнул. О себе он в эту минуту не думал. Добавку срока он предвидел и внутренне был с этим согласен, а возмущался больше для вида, по привычке, а ещё — от избытка чувств. Ведь он тоже рисковал. Следователь сразу дал ему понять, что если бы у него была



пятьдесят восьмая статья, то не сносить ему головы. Но он рискнул и выиграл. Он добился главного – ушёл из лагеря, где дни его были сочтены. А все эти добавочные сроки он воспринимал почти философски, будто это не ему предстояло горбить все эти годы, а кто-то другой будет восемнадцать лет тянуть лямку и жрать пустую баланду. Само наказание было настолько абсурдным, что не верилось, будто всё это всерьёз. Должно что-то случиться такое, что сломает всю эту систему, перешибёт хребёт чудовищу, которое всё это придумало – в глубине души он в это верил, ждал чего-то такого. Но вот перед ним был человек, для которого уже не было ни будущего, ни надежд. Его могли расстрелять через три дня, могли через полгода, а могли и вовсе не расстреливать. За что Петра Поликарповича приговорили к смерти, Николай так и не понял. Ну да, война с немцами началась, вот и указ вышел. Но причём тут они? Как их побег мог повлиять на обороноспособность страны – здесь, за десять тысяч километров от линии фронта, куда ни один фашист не сунется? Кому нужна эта смерть? Какой во всём этом смысл?

Ответа на эти вопросы не было. И он уже знал, что следователь тоже ничего им не объяснит. Он скажет то же, что и раньше: сошлётся на московские указы и постановления, произнесёт гневную речь об изуверах-фашистах и о страданиях советского народа. А на Петра Поликарповича ему наплевать. Таких «поликарповичей» у него сотни. И все чего-то хотят от него, упорно чего-то добиваются. А чего можно добиться здесь, в лагере, с клеймом врага народа? Раньше надо было думать — там, на большой земле, когда их брали по домам из тёплых постелей. Другим следователям нужно было доказывать свою невиновность. А если уж не смог доказать, если попал сюда, так нечего и ерепениться. Нужно терпеть и принимать всё как есть. Тем более, если тебе не сидится на месте, если ты уходишь в побег и заставляешь бегать за собой целую дивизию. Тут уж разговор короткий – приговор трибунала и пуля в затылок! — Такими категориями рассуждал лейтенант госбезопасности Попов, сам никогда не бывший под следствием, не нюхавший пороку и, в общем-то, ничего по-настоящему не знавший о реальной жизни, о её безднах и ужасах, взлётах и падениях, о терзаниях души, сломанных судьбах, растоптанных надеждах и порушенных мечтах.

Следователь пришёл на следующее утро сразу после завтрака. Он хозяйски вошёл в камеру и глянул на лежащего на нарах Петра Поликарповича. Он хотел сделать ему замечание, но посмотрел на Николая и промолчал.

— Чего звали? — спросил недовольно.

Николай выдержал его взгляд.

— Поговорить надобно, — ответил с вызовом.

— А этот чего разлёгся?

— А вы думали, он плясать будет от радости, что вы ему вышку дали?

— Я ему ничего не давал, — ответил следователь, нахмурившись. — Всё сделано по закону.

Николай рывком поднялся.

— Да какой же это закон? Ведь мы сами сдались! И вы об этом хорошо знаете.

— Ничего я не знаю. В деле есть докладная, а я должен руководствоваться фактами, а не голословными утверждениями.

— Это у них голословные утверждения, а мы вам правду сказали. Да и как бы они нас поймали, ведь они мимо ехали по трассе. Если бы мы не вышли на дорогу, они бы нас ни за что не увидели.

— Ладно, хватит трепаться, — отрезал следователь. — Теперь уже ничего не поправишь. Где выписка? Мне нужно в дело подшить.

Николай подал ему бумагу. Следователь глянул и кивнул, спрятал её в планшетку, висевшую на боку. Вопросительно глянул на Николая.

— Кассационную жалобу будете подавать?

— Я нет. А он будет, — без колебаний ответил Николай.

Следователь снова посмотрел на лежащего без движения Петра Поликарповича.

— Что-то непохоже.

— Я сам за него напишу, а он подпишет, — вступился Николай.

Следователь подвигал бровями и милостиво разрешил:

— Ладно, валяй. Пять минут тебе на всё про всё.

— Бумагу принесли?

Следователь вынул из планшета половинку листа и карандаш.

Николай пристроился за столиком. Поднял голову:

— На чьё имя писать?

— Значит так, пиши в правом верхнем углу: начальнику Дальстроя, комиссару госбезопасности третьего ранга Никишову И.Ф. от заключённого Петрова П.П., осужденного выездной сессией военного трибунала от 26.08.1941 г. Написал? Ниже пиши по центру большими буквами: кассационная жалоба. Ну и дальше сам сформулируй.

Николай быстро покрывал лист корявыми буквами, и вдруг остановился.

— А что дальше писать, я не знаю. Вы уж подскажите.

Следователь крикнул с досады.

— Всё вам подсказывать надо. Короче, пиши так: прошу пересмотреть моё дело и отменить вынесенный приговор, в скобках – расстрел. Обязуюсь искупить свою вину ударным трудом. Ниже поставь дату, а этот пусть распишется своей рукой.

Через минуту Николай поднялся с листком в руке, шагнул к товарищу, тронул за плечо.

— Пётр Поликарпович, ты это, поднимись-ка на минутку, подпись твоя нужна, жалобу подать.

Ответа не последовало.

Николай потянул его за руку.

— Ну встань, не упрямься. Гражданин следователь ждёт, нельзя задерживать.

— Ничего я не буду подписывать, — глухо произнёс Пётр Поликарпович. — Пусть стреляют. Не хочу жить.

— Вот те раз! — Николай озадаченно почесал затылок. — Зачем же так? От тебя ведь ничего не требуется, только расписаться, а уж они сами там решат, что делать.

— Не буду я ничего подписывать, отвяжись.

Следователь шумно вздохнул и покачал головой.

— Вот видишь. Сам не знает, чего хочет, а я же ещё и виноват. Вот и пусти такого на фронт. Он там навоюет...

Не успел он договорить эту фразу, как Пётр Поликарпович дёрнулся всем телом, вскочил на ноги. Он был страшен в эту минуту. Стоял, пошатываясь, и смотрел на следователя. Лицо его подёргивалось, челюсти ходили ходуном, глаза налились кровью.

— А ты почему не на фронте? Чем ты тут занимаешься? Невинных людей на смерть отправляешь? А пусти тебя под пули — как ты там запоёшь? Не знаешь? А я знаю. Я был под пулями, я жизнью своей доказал преданность революции. А такие как в тылу отсиживаются. Мрази, мерзавцы, холуи!

— Ты что, ты что, замолчи, дурак! — Николай обхватил его руками, прижал к себе. — Молчи, я сказал! — И, повернувшись к следователю, быстро заговорил, — не слушайте его. Он с ума сошёл от переживаний, вы же видите. Пожалуйста, уходите. Я заявление потом передам, он подпишет, вот увидите.

— Ничего я не подпишу, — рвался из рук Пётр Поликарпович, — пусть убивают, я их не боюсь!

Следователь, наконец, опомнился. С лица сошла бледность, он попятился к дверям. Видно было, что он порядком струхнул. Выйдя в коридор, крикнул со злостью:

— Никаких заявлений! Больше меня не зовите. Надо было вас обоих шлёпнуть, тогда бы узнали у меня...

Он что-то ещё бормотал и грозился — было уже не разобрать. Николай прислушивался с минуту, потом сел на нары, покачал головой.

— Да-а, брат, наделал ты делов!

Пётр Поликарпович стоял посреди камеры, руки его сжимались в бессильной ярости. Но постепенно он стал успокаиваться. Эта вспышка придала ему сил, вернула к жизни. Он сделал два шага и опустился на нары. Сидел, крепко сжав руками доски. Лицо его было сосредоточено, взгляд устремлён в пустоту.

— Так вот, Коля, бывает в жизни, — проговорил задумчиво.

— Да уж вижу, — ответил тот. — Только зря ты на него набросился. Не виноват он. Не в нём дело.

— Да? — Пётр Поликарпович поднял на него тяжёлый взгляд. — А кто виноват? Почему я должен бегать по сопкам словно дикий зверь? Зачем нас тут держат?

Николай отвернулся. Сказать ему было нечего. Он и сам хотел бы знать, почему он теперь здесь, в этом богом забытом краю, а не дома с престарелой матерью, которая едва ходит и почти уже ослепла от горя и непосильной

работы. Его десятилетний сын растёт безотцовщиной, жена живёт без мужней ласки, работает из последних сил и едва сводит концы с концами... Пальцы его теребили заявление, которое он так и не отдал следователю. Он рассеянно глянул на бумажку в своих руках и задумчиво произнёс:

— А ведь и в самом деле расстреляют. Хватит духу.

— Да уж скорей бы, — в сердцах молвил Пётр Поликарпович. — Надоело всё это – бояться, бегать, просить. Ничего не хочу. Пусть что хотят, то и делают.

Остаток дня прошёл в тягостном молчании. Николай ждал, что следователь как-нибудь накажет их за выходку. Но ничего такого не последовало. В обычное время им принесли ужин – чуть тёплую кашу из магары и по горбушке хлеба. Николай съел свою порцию, а Пётр Поликарпович не притронулся к пище.

— Бери мою, я не буду, — только и сказал.

Николай хотел было отказаться, но потом рассудил, что через минуту миски унесут со всем содержимым, и каша пропадёт. Опыт старого лагерника протестовал против такой глупости. И когда надзиратель через пару минут приказал вернуть миски, те были уже отменно пусты и блестели так, что и мыть не нужно.

Остаток дня Пётр Поликарпович пролежал лицом к стене, то погружаясь в подобие сна, то вздрагивая и просыпаясь. Подолгу глядел на тёмную стену перед собой и всё пытался представить: как это будет? Его поведут на расстрел, поставят лицом к стене, подойдут сзади и выстрелят в затылок. Он почувствует сильный толчок, пуля пробьёт кость и застрянет в мозгу, а может быть, пройдёт насквозь — разорвёт лицо, раздробит зубы, выбьет глаз. По лицу потечёт горячая липкая кровь, и он упадёт, захлёбываясь этой кровью, пальцы судорожно сожмутся и разожмутся, он дёрнется всем телом и затихнет... А что дальше? Вечная тьма? Или новая жизнь? Что-то там церковники болтали про райские кущи. А что, если всё это действительно существует – где-то там, в заоблачных высях? Попадёт ли он на небо, удостоится ли такой чести? Ведь он не верит в Бога и всю жизнь презирал церковников. А если Бог всё-таки есть? Если Он спросит Петра Поликарповича: зачем ты жил? Что ты сделал хорошего для людей? За что я должен тебя прощать?

О-о, если бы только Он спросил! Тогда бы Пётр Поликарпович сказал, что он воевал за счастье людей, боролся против несправедливости и угнетения, думал о благе обездоленных и обманутых, все свои силы отдал этому! И тогда Господь скажет ему ласково: «Да, я всё знаю. У тебя доброе сердце и правильные мысли. Ты умер за правое дело, тебя не в чем упрекнуть...».

Господь представлялся ему в виде благообразного старичка с большой белой бородой, у него были маленькие смеющиеся глаза и тихий голос, и он был совсем не страшный, а очень добрый, всё понимающий, снисходительный. Он смутно напоминал кого-то. Пётр Поликарпович стал

припоминать, долго мучился, крутил головой и вдруг вспомнил: был такой старичок – ещё до революции. Он жил за заимке в глухой тайге верстах в двадцати от ихнего села. Держал пасеку, пас коз, обрабатывал немудрящий огород с морковкой и луком. Жил он с дочерью – такой же тихой и пугливой. Сколько он его помнил – старик всегда улыбался, смотрел ласково, щуря свои маленькие глазки и показывая недостаток передних зубов. Видно было, что это очень добрый, бесхитростный человек. Никогда и ни о ком он не говорил плохо, а жизнью своей был всегда доволен – так, по крайней мере, казалось со стороны. Да так оно и было. (Хотя односельчане подсмеивались над стариком, считали его блаженным, дурачком). Уже после революции Пётр Поликарпович узнал, что старика этого убили вместе с дочерью. С дочерью перед смертью сотворили nepотpeбcтвo. Кто их убил – белые или красные – он так и не понял. Говорили всякое. Кто-то громко обвинял в их смерти пеппелевцев, другие вполголоса и как бы стыдась указывали на красных. И теперь Пётр Поликарпович подумал, что действительно, это могли сделать и красные. В гражданскую всякое бывало. Зверствовали и те, и эти. И село их поделилось поровну, кто-то был за новую власть, а кто-то ненавидел большевиков. А убивали все одинаково – до смерти, нередко зверствуя. И если раньше Пётр Поликарпович думал об этом как-то отстранённо, как о чём-то неизбежном, без чего нельзя обойтись, то теперь ему вдруг сделалось страшно. Зачем погибло столько народу? Почему брат пошёл на брата, а сосед на соседа? Зачем они разрушили весь этот уклад, складывавшийся веками? Так ли уж плохо они жили? И что они получили взамен? Колхозы, в которых земля не принадлежит помещику или барину, но и крестьянину она тоже не принадлежит; и всем колхозникам глубоко плевать на этот самый колхоз и на урожай, который всё равно отберут – отчего и голод, и всеобщая бескормица, и душевное опустошение, и злоба, и новые смерти. А в городах — заводы, где рабочие получают сущие гроши и уже не могут по своему желанию переменить место, а за малейшую провинность идут под суд. Получили целую армию садистов в форме НКВД, которые хватают всех без разбору, и всем дают сроки, а через одного — пулю в затылок? Что же такое они сотворили тогда в семнадцатом? Для чего проливали свою кровь в гражданскую? Зачем погубили столько людей? Чтобы теперь самим лечь в стылую землю? Но кто же тогда останется на земле? И как они все будут жить после этого? Как будут объяснять внукам весь этот хаос, эту кровь? Скажут ли о погибших доброе слово? Вспомнят ли их вообще, или постараются забыть – как кошмар, как страшное недоразумение?..

Ответа на все эти вопросы не было. Как не было и спокойствия. Эти последние дни своей жизни Пётр Поликарпович мучился от осознания какой-то страшной ошибки, которую он совершил. Но никак не мог понять: что он сделал не так? В какой момент всё пошло наперекосяк? Почему такая ясная и прямая перспектива вдруг затуманилась и обратилась в свою противоположность? Совсем ещё недавно он был уверен в себе и полон сил и планов, а все вопросы решал просто, ни в чём для него не было затруднения

или тайны. Но теперь тайна была во всём, всё вокруг представляло неразрешимую загадку. Лучше всего было вовсе не думать. Но не думать он не мог, мысли всё время возвращались к одному: скоро он должен будет умереть. И даже если расстрел отменят, жизнь всё равно была кончена, идеалы растоптаны, достоинство утрачено навеки. Зачем же тогда и жить? Нет уж, лучше сгинуть теперь. Разом поставить точку – и дело с концом.

Да, он приготовился к смерти, признал её правоту и подспудную логику. Но каждый раз вздрагивал, когда в замке скрежетал замок и дверь распаивалась. Всё ждал, что ему скажут «на выход без вещей». Особенно томителен был третий день. Он уже знал, что на рассмотрение жалобы отводится трое суток; если за это время не приходит приказ об отмене казни, то приговор приводится в исполнение. А он даже и не подал свою жалобу. Следовательно, расстрелять его могут в любой момент. Но дни шли за днями, а его не расстреливали. Прошёл и третий день, и четвёртый, уже и неделя минула, а Пётр Поликарпович всё томился в камере, всё думал о своей жизни, искал ответа на неразрешимые вопросы. И понемногу тяжесть стала отступать. Забрехала надежда, что не расстреляют, одумаются, или случится что-нибудь такое, что перечеркнёт все приговоры и вздорные решения. Всё-таки, была война – самая страшная война, какие только знало человечество. Могло случиться всякое, и тогда понадобится помощь всех тех, кто способен держать в руках оружие. Заключённых выпустят из лагерей и отправят на фронт. И уж там решится, кто достоин жизни, а кто должен будет умереть, кто герой, а кто подлец и тварь дрожащая. Если бы теперь ему сказали, что он погибнет лютой смертью уже на следующий день по прибытии на фронт, он с радостью бы согласился, пошёл бы за счастье! Погибнуть в бою с жестоким врагом – это совсем не то, что принять позорную смерть от руки своего собрата, сгинуть в этих бескрайних просторах. Пётр Поликарпович поминутно переходил от надежды к отчаянию. Временами казалось, что жизнь продолжается и будущее открыто, но потом наваливалась тяжесть, в душу заползал мрак, и он ложился на нары и лежал так несколько часов кряду, не шевелясь, ни о чём не думая, бесчувственный как труп.

Через две недели лагерное начальство решило, что нечего приговорённым сидеть без дела. Петра Поликарповича и Николая стали выводить на работы. Был уже конец сентября, заметно похолодало, по утрам на траве блестела изморозь. Ежась от лёгкого морозца, Пётр Поликарпович шагал за конвоиром по лагерю, оглядывая чёрные бараки и всё то, что попадалось на пути, и недавний суд и приговор казались ему каким-то сном, будто всё это было не всерьёз. Вот он как и все идёт на работу, сейчас ему дадут лопату, и он будет нагружать землю на носилки, а потом носить их, куда скажут. Потом будет обед и короткий отдых, а потом опять работа, пока не стемнеет. В эту пору темнело рано, часов в пять. Поэтому рабочий день был короток — не для всех, конечно, а только для обитателей лагерной тюрьмы. Пётр Поликарпович это понимал и печалился. Ему хотелось оказаться в обычном бараке среди «нормальных» заключённых. Он уже

согласен был вставать как и все в шесть часов, а потом работать весь день без роздыха, — только бы не убивали! Но в обычный барак его не переводили, на то не было права у местного начальства. И расстрелять Петра Поликарповича так просто тоже не могли. Местному лагерю он уже не принадлежал. Судьба его решалась в более высоких инстанциях. И все ждали этого решения: одни с равнодушием, нисколько не беспокоясь об исходе этого дела, а Пётр Поликарпович со страхом, веря и не веря, что он смертник, и жить ему осталось недолго.

\* \* \*

В октябре сорок первого решалась судьба первого в мире социалистического государства. Фашисты рвались к Москве, сосредоточив на этом направлении два миллиона солдат, две тысячи танков, четырнадцать тысяч орудий и самоходных установок, восемьсот самолётов. На карту было поставлено всё!

Третьего октября немцы взяли Орёл. Четвёртого октября пал Киров, пятого — Юхнов, шестого — Брянск. Седьмого октября под Вязьмой в окружение попали тридцать семь советских дивизий, девять танковых бригад, тридцать один артиллерийский полк и управления сразу четырёх армий. В плену оказались почти семьсот тысяч советских солдат и командиров! Тринадцатого октября пала Калуга. Шестнадцатого — Боровск. Восемнадцатого — Можайск и Малоярославец. Ожесточённые бои шли уже в восьмидесяти километрах от Москвы. Пятнадцатого октября было принято решение об эвакуации Москвы, и на следующий день город охватила паника — сотни тысяч людей тщетно пытались вырваться из города.

Двадцатого октября в Москве было введено осадное положение. Казалось, что всё кончено.

Такая тогда была обстановка.

\* \* \*

Двадцать третьего октября, глубокой ночью, Петра Поликарповича разбудили. В камере он был один — Николая накануне куда-то увели.

Пётр Поликарпович сперва ничего не понял. Подумал, что его забирают на этап, стал торопливо собирать свои вещи.

— С собой ничего не брать, — произнёс строгим голосом военный в белом полушубке и мохнатых якутских торбасах.

Пётр Поликарпович приостановился.

— Но это мои вещи!

— Они тебе уже ни к чему.

Пётр Поликарпович резко выпрямился, вытянул руки по швам.

— Что ж, я готов.

Его вывели из барака и повели к воротам — военный с пистолетом в кабуре на поясе и два бойца с винтовками; бойцы были в рыжих овчинных

тулупах, на ногах — валенки светлого ворса. Лишь Пётр Поликарпович был одет не по-зимнему — в телогрейке, в чёрных стёганных штанах, на ногах — ботинки, на голове — убогая шапчонка.

У ворот была минутная остановка. Потом тяжёлые створки раскрылись, и они вышли наружу.

Сразу от ворот они пошли влево, вдоль трёхметрового забора из чёрных изогнутых досок. Пётр Поликарпович вдруг подумал, что его ведут в другой лагерь, или куда-нибудь в посёлок по казённой надобности, а он просто неправильно понял военного. Но когда они свернули направо и пошли вниз к глухо шумящей реке, сомневаться перестал. Надежда, вспыхнув как искорка в непроглядном мраке, тут же и погасла.

В эти последние минуты он чувствовал необычайную лёгкость. Тело казалось послушным, он чувствовал каждую свою клеточку, свободно управлял каждым мускулом. Грудь дышала глубоко, жадно. Морозный воздух свободно вливался в лёгкие, отчего кружилась голова, и всё вокруг казалось сказочным, таинственным — и чёрное небо, на котором остро блестели синие, розовые и белые звёзды, и неподвижные чёрные горы вдали, и шумевшая за раскидистыми кустами речка. Земля была укутана толстым пушистым снегом, мороз стоял изрядный. Но Пётр Поликарпович не чувствовал его укусов, то есть, он понимал, что холодно, но этот холод словно бы отскакивал от его тела. Он машинально стянул шапку с головы и нёс её в руке. Военный покосился на него, но ничего не сказал. Так они и шли до самого места.

В последнюю минуту, стоя на заснеженном бруствере спиной к реке, а лицом к расстрельной команде, стоявшей прямо перед ним в пяти метрах, Пётр Поликарпович пытался понять, в какой стороне находится его дом. Он порывисто оглядывался, но везде было одинаково темно и глухо. Поднял голову к небу и стал искать полярную звезду. Вдруг увидел прямо над головой перевёрнутый ковш «Большой медведицы», а чуть правее сияла белым пламенем главная звезда северного небосклона, этот маяк для всех мореплавателей и землепроходцев, сколько их ни было и не будет впредь. И тогда он понял, что смотрит на север, а родная сторона находится по левую руку. Он повернул голову и попытался представить родной Иркутск, свой дом, жену и дочурку. Через всё его тела прошла волна нежности, согревшая его среди этих снегов и промороженных сопок. Всё-таки, не зря он прожил свою жизнь. Было и в его жизни счастье! Счастье это — не борьба и не ночные рейды, не митинги и не собрания, не пафос революции и не разгорячённые лица товарищей, а это — любимая дочь и любящая жена, это тихие вечера у детской кровати, это шелест страниц у ночной лампы, это нежный взгляд любимого человека...

Военный вынул из-за пазухи лист бумаги и стал зачитывать приговор: — Именем Союза Советских Социалистических республик...

Слова вырывались из глотки вместе с морозным паром и без остатка растворялись в чёрной пустоте, сами становились пустотой. Пётр Поликарпович не слушал, словно всё это не имело к нему ни малейшего



отношения. Он всё смотрел в левую сторону, будто пытался пронзить взглядом несколько тысяч километров пустого, насквозь замороженного пространства.

Военный возвысил голос и смолк, спрятал бумагу обратно за пазуху.

— Отделение, г-товь-сь!

Щёлкнули затворы, поднялись стволы.

— Целься! Пли!

Выстрелов Пётр Поликарпович не услышал. Его с силой ударило в грудь. Он хотел глянуть, что это такое, и в ту же секунду тёмное небо со звёздами и заснеженный берег завертелись у него в глазах, и он полетел куда-то назад и вбок, уже не чувствуя ничего, не понимая, не помня себя.

Военный спустился в неглубокую ямку к лежащему на спине телу, наклонившись, заглянул в лицо, потом поднёс ко лбу заранее приготовленный наган, приблизил вплотную и выстрелил. Голова дёрнулась вбок и застыла на снегу, пальцы правой руки судорожно стиснули горсть снега. В полуприкрытых глазах искрились звёзды, от лица поднимался белёсый пар. Военный выпрямился, помедлил чуток, потом спрятал наган в кабуру и молвил удовлетворённо:

— Готов. Отбегался.

Вылез на бруствер, и все трое быстрым шагом зашагали обратно в лагерь.

### Вместо послесловия

*Куда они бросили тело твое? В люк?*

*Где расстреливали? В подвале?*

*Слышал ли ты звук*

*Выстрела? Нет, едва ли.*

*Выстрел в затылок милосерд:*

*Вдребезги память.*

*Вспомнил ли ты тот рассвет?*

*Нет. Торопился падать.*

27.09.2016 г.

**\*Примечание:** в тексте процитированы стихи Александра Блока и Лидии Чуковской